Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2012, №12

Акрам Айлисли
Каменные сны.
Роман-реквием. С азербайджанского. Перевод автора под редакцией М. Гусейнзаде

Акрам Айлисли — Народный писатель и заслуженный деятель искусств Азербайджана, кавалер высшего ордена страны “Истиглал” (2002) и ордена “Шохрат” за выдающиеся заслуги перед азербайджанской литературой, давний друг (одно время — член редколлегии) и автор нашего журнала с 1960-х годов. Всесоюзную известность принесла ему в свое время трилогия “Люди и деревья”, которая была напечатана на всех языках республик СССР и стран Восточной Европы. Произведения А. Айлисли переведены на английский, французский, немецкий, испанский языки. Он — автор пьес, поставленных на сценах многих театров Азербайджана, сценариев нескольких фильмов, а также переводчик, сделавший достоянием азербайджан-ских читателей произведения Тургенева, Короленко, Чехова, Паустовского, Белля, Шукшина, Айтматова, Маркеса, Рушди. Широкой популярностью в стране пользуются сейчас его мемуары “От Айлиса до Айлиса”. Наша публикация романа-реквиема “Каменные сны” совпала с 75-летним юбилеем писателя, с которым мы его горячо поздравляем.

Роман-реквием Акрама Айлисли “Каменные сны” — не просто художественный текст, это исключительно смелый поступок писателя — истинного патриота, ради чести и достоинства своего народа не страшащегося говорить горькую правду. Сказанная соотечественником, в чьей любви к отчизне никто не усомнится, она особенно нужна и полезна. Полезна всем — русским, армянам, грузинам, сербам и албанцам, арабам и израильтянам — всем, мучительно ищущим общий язык.

“С обеих сторон должно идти покаяние, и с обеих сторон люди должны переступать в себе через ненависть. Это — главная, кровоточащая тема романа Айлисли, — пишет Лев

Аннинский в своей рецензии (см. "ДН", 2011, № 12). <…> Есть ли конец у этой беды? Нельзя ли жить, не смешиваясь, не соприкасаясь, не контактируя на этих райских клочках земли, среди гор, населенных шакалами и змеями? Нельзя. Диффузия неизбежна. Из-за любви, кроме которой ничего не захотят знать молодые люди с обеих сторон. Из-за полукровок, рождающихся от этой любви. Из-за общего ощущения, что народам друг от друга никуда не деться, не скрыться, не спрятаться. <…>

Что делать писателю, не умеющему ни молчать, ни понижать голос?

А то и делать, что делает Акрам Айлисли, вставший поперек ненависти".

Посвящается
памяти земляков
моих,
оставивших после
себя неоплаканную
боль

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Загадочная смерть старой гардеробщицы, смертельноопасная шутка знаменитого артиста и партбилет-пистолет

Состояние больного, только что доставленного в отделение травматологии одной из крупных бакинских больниц, было очень тяжелым.

Больного, без сознания лежавшего на каталке, везли по самой середине полутемного, тянущегося вдоль всего этажа больницы коридора в операционную, расположенную в другом крыле здания. Их было две женщины в белых халатах, и в таких же халатах двое мужчин. Рядом с каталкой шел и сам хирург, худощавый, седовласый, среднего роста человек, отличающийся от своих коллег сдержанностью, повелительной строгостью лица и особой чистотой халата.

Если и было что-то отличительное и кажущееся неуместным в этой обычной для больничной жизни картине, то это трагический комизм в облике и поступках человека, который привез больного в клинику. Этот маленький вертлявый мужчина лет пятидесяти пяти — шестидесяти с маленьким личиком, которое никак не гармонировало с его огромным круглым животом, бегал вокруг врача, постоянно повторяя одно и то же:

— Доктор, родной мой, доктор… убили. Такого человека, средь бела дня, избили, уничтожили. Это все еразы, доктор, еразы. Пять-шесть парней-еразов… Эти сукины дети

беженцы совсем не уважают людей, доктор, дорогой мой. Ни артистов они не признают, ни поэтов, ни писателей. Только назови кого-то армянином — и все. Тут же швырнут под ноги и затопчут, как дикие звери. Раздерут на части, и никто близко подойти не смеет… Я им говорю: не бейте, этот человек, говорю, не армянин, он наш человек, сын нашего народа, гордость и совесть нации. Да кто там слушает. Даже не дали мне свое имя назвать. Так врезали ногой в бок, что я чуть там же не умер. Вот сюда доктор, в правый бок. До сих пор страшно ноет…

Доктор не очень хорошо понимал, что говорит человек, доставивший больного. Может быть, и не хотел понимать. А может, даже и не слышал, что непрерывно бормотал этот суетливый, смешной мужчина, повязавший желтый галстук на клетчатую коричневую рубашку. Однако наблюдательный человек мог бы заметить, что врач временами тихо усмехался в усы. И не потому, что с каждым словом, с каждым жестом человека, доставившего больного, возникала комическая ситуация. А скорее потому, что лежавший на каталке светловолосый мужчина был худощав и заметно высокого роста. И, возможно, противоположность в облике этих двоих напоминала доктору самые грустные страницы истории Дон Кихота и Санчо Пансы.

Когда они достигли дверей операционной, один из мужчин в белом халате преградил путь смешному человеку в желтом галстуке.

— Пропустите его, — сказал врач. — Ему, кажется, есть что сказать. Пусть выговорится.

Операционная, которая была значительно меньше коридора, тем не менее оказалась просторным помещением с высоким потолком и огромными окнами. Операционный стол, стоявший прямо посередине, напоминал укрытую простыней каталку, на которой везли больного. Двое мужчин в белых халатах, доставившие каталку с больным, подняли его, уложили на этот стол, взглядом спросили разрешения у доктора и молча вышли из операционной.

— Пероксид! — громко сказал хирург медсестрам, закатывая рукава халата. — Принесите, оботрите ему лицо. — Посмотрев на залитого кровью больного, он пробормотал какое-то ругательство и, обращаясь к его спутнику, спросил: — Кто это сделал с ним?

— Я же говорил вам, доктор: еразы. Эти сукины беженцы, прибывшие из Армении. Мало того, что они разбили ему все лицо. Так еще и повалили его на землю, как дикие звери, стали бить по животу. Еще, доктор, хорошо, что я подоспел. Вышел с утра в город немного проветриться. Выхожу с этого проклятого места, что называется Парапетом, и вижу, как у края фонтана пять-шесть усатых негодяев избивают человека. А люди стоят в

стороне и молча смотрят… — Тут он внезапно запнулся. Губы его все еще продолжали шевелиться, но слова, казалось, дальше кадыка не доходили.

— Перекись закончилась, доктор, — как можно тише извиняющимся голосом сказала одна из медсестер. (Одна из них была пожилой, другая — совсем молодая.)

— Спирт есть, кажется, — безнадежно сказал хирург.

— Нет, доктор. Все, что было, израсходовали вчера.

— Ладно, омойте водой. Марганца много не кладите. — Доктор вымыл руки с мылом перед умывальником, стоявшим в углу комнаты, потом подошел и встал перед операционным столом. — Снимите все, что на нем. Оставьте в одних трусах.

Больной, лицо, нос, подбородок, воротник оранжевой шерстяной рубашки, полы голубоватого пиджака которого были залиты алой кровью, так спокойно лежал на операционном столе, словно там, на той называемой Парапетом площади, били не его, а его злейшего врага. Он крепко спал, хотя из груди у него вырывались частые хриплые стоны. И мало того, что спал, он, кажется, еще и видел сны, причем эти сны, казалось, доставляли ему большое удовольствие.

Пока женщины смывали запекшуюся кровь с лица больного, доктор проверял его пульс. Когда медсестры раздели больного, он начал внимательно осматривать его и как бы отчитываться перед собой или диктовать кому-то:

— Наложить два шва на нижнюю губу. В области челюсти переломов не наблюдается. Два вывиха на левой руке: у локтя и у запястья. Вывихнуты два пальца правой руки: большой и средний. Тяжелая мышечная травма на левой ноге. Перелом коленной чашечки правой ноги. На спине, грудной клетке, позвоночнике серьезных аномалий не наблюдается. На черепе переломов не видно. — Доктор замолчал, опять в сердцах выругался. — Сотрясение мозга! — Он сказал это почему-то громко и по-русски, потом достал из кармана брюк носовой платок, не спеша вытер пот со лба и снова по-русски добавил: — Избиение зверское!

После каждого произнесенного врачом слова на лице человека, доставившего больного, отражались все его переживания, вся боль и страдания. Он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. Когда доктор закончил осмотр, одновременно закончилась и вся выдержка у этого человека. Он заплакал навзрыд, как обиженный ребенок.

Одна из стоявших у операционного стола женщин в белом халате (та, что помоложе) прослезилась. Пожилая медсестра тоже расстроилась и горестно покачала головой. И доктору было очень жалко этого человека. Он стал успокаивать его:

— Ну что вы, так не годится… Нет ничего страшного. Через пятнадцать дней ваш друг будет как новенький, я сделаю из него конфетку. — Опустив голову, он задумался, потом снова поднял голову и с некоторой осторожностью спросил:

— Значит, ты говоришь, этот человек армянин?..

Наш комический герой удивленно выпучил глаза.

— Да разве вы не знаете его?.. Вы не знаете Садая Садыглы? Гордость азербайджанского театра! Артиста номер один! Вы действительно не знаете этого великого мастера, доктор? Даже по телевизору не видели?.. Вы и меня не раз видели по телевизору, доктор. Может быть, просто не запомнили… Нувариш Карабахлы — известный исполнитель комических ролей. Меня вы можете не знать. Я и не обижаюсь на вас. Но нет человека, который не знал бы Садая Садыглы. Ведь никто в мире так не играл Гамлета, Отелло, Айдына1, Кефли Искендера2.

— А я вас сразу узнала, — с нескрываемой гордостью сказала молодая медсестра.

— Вас обоих я часто видела по телевизору, — почему-то с некоторой кокетливостью проговорила ее пожилая коллега. — А доктор Фарзани не виноват. Он больше тридцати лет жил в Москве, еще трех лет не прошло, как вернулся в Баку.

Сообразив, почему его и Садая Садыглы не узнал врач, артист разом успокоился. А то, что медсестры, узнавшие их сразу, не подали вида, Нувариш Карабахлы отнес на счет того, что они наверняка опасались, будто это будет плохо воспринято доктором.

Нувариш Карабахлы догадался, что все его слова прошли мимо ушей врача. То ли тот был слишком задумчив, то ли он, Нувариш Карабахлы, от нервозности не смог найти нужных слов. Поэтому он постарался насколько возможно сосредоточиться и принялся еще проще и примитивнее пересказывать все, что произошло на Парапете.

— Дело обстояло так, доктор: я сегодня шел по городу. Который был час, точно не скажу — может, десять, а может, одиннадцать. На Парапете есть такое место с фонтаном — вы, наверное, видели его. И вот оттуда вдруг раздался страшный крик. Кто-то словно выл. Оказывается, это был старый армянин. Он вышел купить хлеба и тут же попался в руки еразам. Прямо в домашней одежде… И в тапочках. Когда я добрался до того места, несчастный уже был убит и брошен в бассейн. А глаза у него были открыты, доктор, и смотрел он прямо на меня. Я лично не видел, как его убивали. А те, кто были там раньше, рассказывали, что армянина сначала бросили в бассейн, прямо в ледяную воду. Он старый человек, не мог оставаться в воде. Хотел вылезти. А эти парни стояли у края бассейна, били его ногами, пока не забили до смерти. А у Садая Садыглы, да поможет ему Бог, беда вечно кружит над головой. Иначе с чего бы именно ему оказаться в это время в том проклятом месте?.. Не выдержал он, вот и все!.. Он же артист, гуманный человек. Сердце

не вынесло. Он бросился на помощь. А откуда этим еразам знать, кто он и что он? Они же приезжие, нездешние. Вот и приняли его за армянина и набросились, как дикие звери. Опоздай я хоть на минуту, они и его отправили бы к старику-армянину. Но Бог миловал — он остался жив. Я вас умоляю, доктор, спасите его. Жизнь этого великого человека теперь в ваших руках. — Этими патетическими словами артист закончил свою речь.

Врач спешил начать операцию. Но, казалось, для этого чего-то недоставало. К тому же, видимо, рассказ артиста потряс его. Он не видел ничего необычного в том, что лежавший без сознания на операционном столе Гамлет-Отелло-Кефли-Искендер пытался спасти старика-армянина. По мнению доктора, именно так поступил бы каждый, кто считает себя человеком. Однако жители этого города, словно сговорившись, старались держаться подальше от того, что называется человечностью. Казалось, им даже и невыгодно стало сохранять человеческое лицо.

Всего десять-пятнадцать дней назад доктор Фарзани здесь же, в этой операционной, делал очень сложную операцию армянской девочке лет четырнадцати-пятнадцати, которая бог знает каким чудом была доставлена в больницу.

В метро, где всегда полно народа, несколько женщин-азербайджанок набросились на нее и на глазах сотни людей устроили над ней расправу. А за несколько дней до того какой-то поэт-дегенерат ворвался в больницу и, избив, выгнал из кабинета врача, сорок лет проработавшего в кардиологическом отделении, только потому, что тот имел несчастье родиться армянином. После этого случая в больнице не осталось ни одного армянина — ни врача, ни обслуги. Кто спрятался дома, кто навсегда уехал из Баку.

— Все ясно, Нумаиш муаллим. Как говорят персы: меселе мелум ест3 , — бодрым голосом, не вязавшимся с его откровенно плохим настроением, сказал доктор, перекладывая свои хирургические инструменты.

Нувариш Карабахлы не обиделся на то, что доктор исказил его имя (человек, более тридцати лет проживший в Москве, имел на это полное право), но не преминул восстановить его:

— Кто такой Нувариш Карабахлы, доктор? — сказал он. — Обычный актер. Сотня Нуваришей Карабахлы не стоят мизинца одного Садая Садыглы. Лучше бы те мерзавцы вместо него меня избили.

— Он тоже карабахский?4 — спросил врач, в очередной раз проверяя пульс больного.

— Да, нет же, доктор, И я не карабахский. Я родом из Кюрдамира5 . Карабахлы — это у меня псевдоним. А Садай Садыглы родился в Нахичевани, там в Ордубадском районе есть такое место — село Айлис6 . Очень древнее село, доктор, хоть я сам никогда там не был. В свое время, говорят, там жило много армян. Их семь или восемь церквей вроде бы до

сих пор стоят. Видно, те армяне были очень умными, хорошими людьми. И Садай Садыглы такой человек, доктор, что, хоть мир перевернется, но он белое не назовет черным. Уж сколько раз попадался из-за своего языка, но так ничему и не научился. Через пару месяцев ему уже исполнится пятьдесят, а он так и остался десятилетним мальчиком. Что на уме, то и на языке. Не может хоть изредка промолчать даже в такое опасное время. Он говорит: это не армяне, а мы сами плохие. И не боится. Всюду говорит это, везде — и в театре, и в чайханах.

Доктор Фарзани, широко раскрыв глаза, на этот раз посмотрел в лицо больному с каким-то особым интересом. Словно только теперь в первый раз его и увидел. Женщины, хранившие гробовое молчание, вдруг о чем-то стали живо перешептываться. Фарзани твердо взял Нувариша Карабахлы под руку и, ведя его к двери, сказал:

— Ну, давай, молодой человек, тебе здесь уже делать нечего. Посиди в коридоре, отдохни. А хочешь — иди домой, прими, как положено, сто граммов и заваливайся спать. Потом придешь, если захочешь. Это тебе, друг мой, не аппендицит вырезать, здесь требуется капитальный ремонт, часа три-четыре продлится. Не переживай. Друг твой будет жить. Я из него такого Отелло сделаю, что Дездемона от радости в обморок упадет.

С этими словами доктор выпроводил артиста в коридор и закрыл за ним дверь.

Когда двустворчатые двери операционной закрылись, Нувариш Карабахлы вдруг ощутил острое одиночество, словно весь мир остался там, за закрывшимися дверями.

Из длинного полутемного коридора веяло кладбищенской тоской. Свет не горел. Вокруг никого не было. Большие двустворчатые окна на противоположной стене коридора мрачно тускнели, не пропуская света: то ли были очень пыльными, то ли на улице уже стемнело.

Лишь в одном месте — недалеко от застекленного балкона, у дверей, видна была скамейка. Больше в коридоре сесть было негде. Нувариш Карабахлы медленно пошел в сторону скамейки, ощущая головокружение и подступающую тошноту. Ему давно уже хотелось закурить, но не хватало сил даже сунуть руку в карман, достать оттуда пачку.

Подойдя к скамейке, он у самой двери увидел прибитые к стене друг над другом две таблички. На верхней крупными черными буквами было написано “ОТДЕЛ ТРАВМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ”, на нижней, буквами помельче — “Зав. отд. хирург Фарзани Фарид Гасанович”. Дверь в кабинет доктора Фарзани была открыта.

Как ни измучен был Нувариш Карабахлы, как ни хотелось ему присесть, однако он не стал садиться на скамейку у двери. Казалось, если он сейчас сядет, то уже никогда не сможет подняться. Он осторожно заглянул через открытую дверь в кабинет: стол, два старых

стула, диван, сейф, холодильник, старый телевизор, электрический чайник, умывальник… Он достал из кармана сигареты, но опять не решился закурить. Все сильней ощущая подступающую тошноту, он двинулся в сторону окна и, еще не дойдя до него, увидел, что и в другую сторону от операционной тянется такой же длинный коридор. В отличие от этого, пустого, у входа в который находился кабинет доктора Фарзани, там было множество окон, и выстроившиеся вдоль коридора голубоватые двери палат смотрели в мутные, пепельного цвета окна.

У одного из окон, опираясь на костыли, курил парень с загипсованной ногой. Возле открытой двери дальней палаты стояла пожилая женщина с перевязанной рукой. Кроме этих двоих, в коридоре не было ни души.

Нувариш Карабахлы закурил сигарету, которую все это время держал в руке, но при первой же затяжке в глазах у него потемнело. Испугавшись, что сейчас упадет, он, держась за стенку, доплелся до скамейки и долго сидел там, пока пелена, застилавшая ему глаза, постепенно не рассеялась.

Пелена не беспокоила Нувариша Карабахлы. Он привык к ней.

Сейчас он был больше всего озабочен тем, как сообщить о случившемся жене Садая Садыглы — Азаде ханум.

Нувариш часто бывал в доме Садая Садыглы. И знал, где работает его жена. Азада ханум, наверное, еще на работе. Но в эту минуту встать и отправиться на работу к Азаде ханум было для Нувариша делом почти невозможным. Он еще не обдумал, как расскажет ей обо всем. Самое лучшее было остаться здесь и дождаться конца операции. Потом, когда операция закончится, раны Садая будут перевязаны и сознание вернется к нему, куда легче будет рассказать Азаде ханум о случившемся. (Он забыл, что сегодня воскресенье и ее нет на работе.)

Нувариш Карабахлы был трижды женат, но в этот вечер во всем городе его никто не ждал. Первую попытку создать семью он предпринял лет в девятнадцать-двадцать: просто посадил возлюбленную в такси и без обручения, без свадьбы, без приданого увез ее в отчий дом. Ладно бы без свадьбы, но мать Нувариша никак не могла простить невестке, что пришла она в дом мужа без приданого. После полутора месяцев войны со свекровью девушка собрала вещи и вышла на улицу, чтобы больше никогда не возвращаться.

Тогда же, в молодости, когда он в театре еще выходил только в эпизодических ролях, одному из старейших работников театра “улучшили жилищные условия”, а его полуподвальную сырую квартиру на Монтине7 отдали Нуваришу, там он всего девять месяцев прожил со своей второй женой, которая скончалась от рака легких. Третья жена

Нувариша Карабахлы, Джульетта, была состарившейся в девичестве тридцатишестилетней дочерью одного из именитых актеров театра. Лет пять у них не было детей. Потом родился сын. Но однажды, когда младенцу не было еще и трех месяцев, во время ночного кормления Джульетта крепко заснула, а проснувшись, обнаружила посиневшее тело ребенка, задохнувшегося между ее грудей. Джульетта не могла себе этого простить, умерший ребенок не умолкал, плакал, просил молока. И мать перестала есть, пить, спать. Бедняжка и десяти дней не прожила после смерти ребенка. Исхудала, как щепка, сгорела, как свеча, и исчезла, словно тень — будто никогда ее и не было.

Теперь, уже более десяти лет, у Нувариша была хорошая двухкомнатная квартира в центре города. До февраля этого года он вел в ней хоть и одинокую, но, по сравнению с нынешней, спокойную, может быть, даже слишком счастливую и привольную жизнь. И вот она насмешка судьбы — теперь Нувариш Карабахлы старался попадать в свою квартиру лишь по ночам, да и то потому, что больше некуда было деться. В собственном доме он не знал ни минуты покоя, ни сна, ни отдыха. А причина была в том, что один из работников Баксовета, занимающий незначительную, но очень денежную должность — здоровенный пузатый верзила — захватил квартиру старой работницы театра, гардеробщицы Греты Сарикисовны Минасовой, получившей ее в один день с Нуваришем по соседству, на последнем, десятом этаже их дома, и устроил там самый настоящий бордель. За стеной целыми днями стояли шум и грохот. Животный смех и вскрики старых опытных проституток и еще молоденьких девушек, только вступающих в профессию, их подлинные или притворные стоны наслаждения сводили с ума, не давали артисту покоя днем, мешали спать по ночам.

По слухам, этот верзила был одним из богатых людей Шуши. В Баку он объявился недавно, устроился на работу в Баксовет, купил в кооперативном доме рядом с домом Нувариша четырехкомнатную квартиру. Этот человек имел квадратную фигуру. Поразительная по ширине спина выходила за рамки любых стандартов. У него были иссиня-черные густые волосы, такие же черные и густые брови, широкие, щедрые усы и выпученные пустые, ничего не выражающие крокодильи глазки. Даже имя и фамилия этого человека были для Нувариша Карабахлы выражением жестокости и безбожности: Шахгаджар Армаганов! Чтоб провалиться тому, кто дал имя этому животному!

Как-то утром, когда еще только рассветало, во дворе был поднят шум: мол, слушайте, люди, тут какая-то армянка выбросилась с балкона. Крошечное старушечье тело Греты Саркисовны еще только умирало в большой луже крови, а по городу уже пошли странные вести о том, что выбросившаяся с балкона армянка оставила перед смертью покаянное

письмо: “Я ненавижу себя за преступления, которые учинили армяне. Я презираю свой народ и потому больше не хочу жить на свете. Карабах принадлежит Азербайджану. Да здравствует Азербайджан”.

Нувариш ни тогда, ни сейчас нисколько не сомневался в том, что это “самоубийство” — дело рук того шушинского верзилы. Вполне возможно, сам Шахгаджар Армаганов и сбросил Грету Саркисовну с балкона. Теперь уж времена такие. Возьми да сбрасывай с балкона хоть сто армян в день. А вместе с ними и мусульман. Спокойно можно стереть с лица земли любого человека, если нет за ним чьей-то поддержки. И артист с каждым днем стал все больше бояться шушинца. Нет теперь ни законов, ни судов — возьмет он в один прекрасный день и запросто сбросит с балкона и его, Нувариша, и представит это как самоубийство. Кто станет расследовать его преступление, кто докажет, что этот хладнокровный, безбожный и безжалостный баксоветовский чиновник и есть настоящий бандит?..

Холодное серое потрясение пережитого стресса еще не оставило его душу, а хрупкое эмоциональное нутро артиста уже пылало ненавистью и гневом. Ну, сколько раз в день можно твердить участковому милиционеру одно и то же: будь человеком, имей совесть, закрой ты этот бордель, не то скоро весь город превратится в сплошной публичный дом. По этому поводу артист не раз был на приеме у начальника милиции, а сколько телеграмм и писем написал он в райком, Центральный Комитет, даже в Баксовет, пока в конце концов решил: то ли в этой стране нет власти, то ли люди, эту власть представляющие, все заодно с палачом Шахгаджаром Армагановым. И в театре он всем рассказывал, что творится в последнее время в квартире Греты Саркисовны. Только Садаю Садыглы не сказал он об этом ни слова. Считал это бессмысленным, потому что этот человек пребывал в собственном мире, витал в своих облаках. К тому же Нувариш Карабахлы не хотел вмешивать в эту грязь человека, в чью гениальность верил от всей души.

Теперь даже в самые жаркие летние дни артист плотно закрывал все двери и окна, и один Бог знает, сколько мук испытывал он каждую ночь в ожидании утра. Как раз в одну из таких жутких ночей он и принял решение — во что бы то ни стало приобрести себе пистолет. С этой просьбой он обращался ко многим знакомым работникам милиции и военкоматов. Однако ничего, кроме смеха, его просьба не вызвала у людей, которые привыкли смеяться просто при виде его. И когда артист уже совсем потерял надежду обзавестись оружием и обрести в собственном доме хоть какой-то покой, один известный писатель, три пьесы которого были поставлены в их театре, указал ему (всего два дня назад) самый простой путь. По словам писателя, сейчас каждый член Народного фронта имел по одному или даже по несколько пистолетов. И с помощью этих “ребят” можно

было купить не только “макара” или “калашникова”, но даже самый настоящий пулемет. И опять же, по словам авторитетного писателя, такому знаменитому артисту, как Нувариш Карабахлы, достаточно просто сходить в штаб Народного фронта и шепнуть пару слов на ухо Главному Бею.

Бея он знал давно и очень хорошо. Сотни раз чаевничал с ним в разных бакин-ских чайханах: на Бульваре, в Молоканском садике, на площади Азнефти и, даже когда в кармане было совсем мало денег, старался всегда сам платить за чай.

И вот сегодня в полдень артист, выйдя из дома, прямиком направился в штаб Народного фронта. Бей еще не пришел. Артист почти час простоял у входа в штаб, ожидая его. Потом сходил позавтракал в кафе рядом с кинотеатром “Араз”: выпил сто пятьдесят граммов водки, съел две порции сосисок. А когда, выйдя из кафе, снова направлялся в штаб Народного фронта, там — около бассейна с фонтаном — и попал в эту ужасную историю.

Сейчас, сидя на скамейке в больничном коридоре и дожидаясь окончания операции, Нувариш Карабахлы заранее придумывал замечательные сцены своей еще не состоявшейся встречи с Главным Беем.

— Добро пожаловать, бей! Я бесконечно рад тебя видеть! — Так (в мечтах артиста) ласково и приветливо встретил самый главный Бей своего давнего друга по чайхане. — Как дела, родной? Что нового в театре? Чью пьесу ставите? Как раз вчера я у ребят справлялся о тебе. Что-то, говорю, его не видно. Поинтересуйтесь, где он, почему не видно нашего мастера сцены? Может, он в чем-то нуждается?

Услышав насчет “нуждается”, артист немедля стал излагать просьбу о желанном пистолете. Он также собирался рассказать Бею об активно функционирующем в соседней квартире борделе, но Бей с присущей великим людям великой же чуткостью понял, что именно привело его старого друга в штаб Народного фронта, и великодушно избавил его от лишних хлопот.

— Это мелкий вопрос, бей! — Тут Главный Бей слегка поглаживает бороду. Потом громко и вдохновенно произносит: — Наш долг беречь людей, нужных народу. — После этого он снимает телефонную трубку и приказывает кому-то: — Принесите артисту новый пистолет. Это мой друг. Наш великий артист. Да, времена сейчас тяжелые, опасный период. Мы по мере возможностей должны охранять наших лучших людей. — Главный Бей (в мечтах артиста) произносит именно эти слова и, ласково улыбаясь Нуваришу, тихо добавляет в трубку: — Патронов положи побольше...

Окончательно поверив, что именно от Главного Бея он в ближайшее время получит пистолет, Нувариш Карабахлы с грустью вспомнил, как всего год-полтора назад они с ним

долго и сладостно посиживали в разных чайханах. Вспомнил май 1979 года, когда тогдашний Первый человек всего Азербайджана внезапно посетил театр и так же внезапно выделил ему квартиру в центре города. Вспомнил, как еще в конце 60-х он однажды крепко поддал и, совершенно пьяный идя к автобусной остановке, на углу улицы Зевина встретился с человеком, которого именовали в народе Хозяином. Тогда Нувариш Карабахлы жил еще в доме отца, а в театре только начинал выходить на сцену в эпизодических ролях. Однако (бывают же чудеса на свете!) оказалось, что тогдашний Хозяин видел эти незначительные роли Нувариша. И не только видел, но и крепко запомнил.

В тот вечер Хозяин тоже возвращался, кажется, с какого-то застолья и был в отличном расположении духа. (С ним рядом шли двое крепких мужчин — телохранители.)

— А, артист, погоди-ка, братец, — сказал он. — Ну и выпил же ты! Где это ты так поддал? — Он подмигнул одному из мужчин, стоявших рядом. — Я тоже выпил. Только, видишь, не качаюсь на ровном месте…

В то время Нувариш, естественно, еще не был знаком с Первым человеком в республике, и если б Первый не протянул ему руку и не сказал: “Давай знакомиться”, наверняка и не запомнил бы, с кем имел дело в ту ночь на углу улицы Зевина.

— Давай знакомиться. — Он назвал свое имя. — А тебя я знаю, ты артист. И хорошие роли играешь в театре. А куда же теперь путь держишь?

Нувариш заплетающимся языком еле-еле пробормотал:

— В Хы-хы-Хырдалан. Иду на автобус.

Человек с несколько продолговатым лицом оглядел артиста с ног до головы.

— Ну, иди, — приказал он с пугающим презрением. — Уже поздно. Шагом марш! И больше так не напивайся.

“Ты все еще живешь в Хырдалане?” Эти слова, сказанные позже в театре Первым, сейчас так живо прозвучали в ушах артиста, что, казалось, их отчетливо расслышали даже безжизненные стены больничного коридора.

— Я сейчас живу в поселке Монтина — на один этаж ниже земли, — смело пошутил артист со своим давним знакомым.

— С завтрашнего дня будешь жить в самом центре города — на 10 этажей выше земли, — твердо сказал Первый, на шутку отвечая шуткой.

В тот вечер, отыграв ахундовского “Мусье Жордана”8, весь творческий коллектив театра собрался в кабинете директора Мопассана Мираламова. Нувариш играл в спектакле дервиша Мастали-шаха, и его игрой, судя по всему, был доволен сам Первый. “Ты

отлично играешь и Шейха Ахмеда в “Мертвецах”, — сказал он. — Я дважды по телевизору смотрел. Таких ролей играй побольше”.

Очевидно, в тот день, собираясь в театр, Хозяин заранее запланировал выделить квартиры нескольким работникам, в числе счастливчиков обязательно должна была быть и Грета Минасова. “Здесь была одна старая сотрудница — Минасова. Она еще работает в театре?” — для проформы спросил у директора Хозяин, конечно же знавший, что она из театра никогда и никуда не уходила. И Грета Саркисовна, растерявшись от неожиданного приглашения, вошла в кабинет Мопассана белее мертвеца, а вышла оттуда, плача от счастья и неустанно повторяя: “Спасибо, сынок! Огромное вам спасибо!!!”

До сих пор перед глазами артиста так и стоит лицо Греты Саркисовны в тот вечер. Может даже, еще живей, чем тогда, еще выразительней. И еще — посеревшее лицо Садая Садыглы, его покрасневшие глаза, взгляды, полные ярости и гнева.

У него почему-то с самого начала не складывались отношения с Первым. Впрочем, по мнению Нувариша, вина была не в Хозяине, а в упрямстве и гордости Садая Садыглы. “Банной водичкой себе друзей зарабатывает. Дает каждому что-то, отнимая самое главное в человеке — его достоинство. Кастрирует душу народа, чтобы сделать всех тихими и послушными”. Подобные страшные слова Садай Садыглы не боялся произносить и в присутствии театрального начальства.

“А ты в чем нуждаешься, господин Садыглы?” — так обратился тогда к Садаю Первый сдавленным и неуверенным голосом, что ему вовсе было не свойственно, и, кажется, голос его при этом даже слегка дрогнул. А в слове “господин” прозвучала откровенная ирония и даже скрытый гнев. Конечно же “мировоззрение” Садая Садыглы Хозяину было известно. “Я ни в чем не нуждаюсь!” — громко и высокомерно ответил Садай Садыглы. Разговаривая с Первым, все вставали. А этот даже не шевельнулся. “Когда ему нечего делать, приходит сюда поразвлечься. Положенную каждому государственную квартиру дает с таким одолжением, будто все дома в городе достались ему от его покойного отца”, — никого не боясь, при всех гневно произнес он по окончании собрания. На следующий день все в театре с сожалением говорили, что, веди себя Садай Садыглы в присутствии Хозяина чуть “пристойней”, дал бы тот и ему квартиру в центре города, в самом лучшем доме, квартиры в котором удостаивался даже не каждый министр.

Ну, скажи после этого, что язык не самый подлый враг человеку.

Притулившись в углу скамейки, свернувшись в клубок, Нувариш Карабахлы заснул, и снился артисту, быть может, самый кошмарный сон в его жизни.

Сероватое странное место. Сырость пробирала до костей. Ни дома, ни деревца, нет в мире никого и ничего, кроме черной лужи крови. Грета Саркисовна, как маленький

черепашонок, только что вылупившийся из яйца и торопящийся к воде, выползла из лужи собственной крови. Ее мертвое и в то же время живое, с ободранной кожей обнаженное тело было так уродливо и страшно, что, быть может, с самого сотворения мира никто и не видел столь жуткого зрелища. Грета Саркисовна ползла и ползла по земле, извиваясь, как змея. Однако это был не асфальтированный двор дома, где сейчас жил Нувариш. Это место напоминало голую землю в хырдаланском дворе Нувариша, и по той земле ползла Грета Саркисовна, стремясь, кажется, доползти до своей смерти. Но смерть эта, словно кем-то украденная и где-то издевательски спрятанная, никак не шла к ней. Иногда она, поднимая голову, бормотала: “Спасибо, сынок, огромное вам спасибо!” — и вновь в невыносимых болях и муках продолжала путь к своей смерти… И Нувариш вдруг осознал, что Грета Саркисовна ползет прямо в его сторону. Так, будто ее смерть во власти одного Нувариша.

И хотела Грета Саркисовна получить у него эту смерть, чтобы навсегда избавить свое ободранное тело от мук и страданий… Чем ближе подползала Грета Саркисовна, тем больше страх и ужас охватывали Нувариша. Артист пытался убежать от мертвой женщины, которая никак не могла умереть. Однако у него ничего не получалось — он не мог отодвинуться ни на пядь, все тело его словно было залито расплавленным свинцом.

Не вынеся этого кошмара, артист открыл глаза и — счастливый — обнаружил себя в холодном и сыром коридоре. Уже включили свет, и двери операционной на другом конце коридора были открыты нараспашку.

Когда еще не вполне оправившийся от сна Нувариш Карабахлы вошел в кабинет доктора Фарзани, тот сразу понял, что он не в состоянии даже разговаривать.

Фарзани только что вышел из операционной. Он стоял у умывальника лицом к стене и мыл руки.

— Проходи, присаживайся, Мубариз муаллим, — сказал он. — Не переживай. Дела идут неплохо. Твой друг в палате. Спит себе. Организм у него крепкий. Прямо железный. Между нами, и на алкаша он вовсе не похож.

В этом своем состоянии артист не заметил даже, что доктор назвал его не Нуваришем, а Мубаризом.

— Как, доктор? Как это спит? Он сейчас в сознании?

— Пока нет, — спокойно ответил врач, вытирая руки. — Не спеши, всему свой черед. Если не сегодня ночью, то завтра утром точно придет в себя. Я ему в палату направил хорошую сестру. Она до утра будет дежурить около больного. — Доктор повесил полотенце на гвоздь и сел на свое место. — Да и ты, видимо, крепко заснул, только вид у тебя сильно помятый. Что, плохой сон приснился?

— Приснился, доктор, а как вы догадались? Такого кошмара в жизни не видел! — Артист помолчал. Потом вдруг жутко разрыдался и сквозь слезы стал умолять доктора: — Ради Бога, доктор, дайте мне немного спирта, всего десять граммов! Задыхаюсь, клянусь Богом. Голова прямо раскалывается. В черепе словно мыши с крысами бегают.

— Нет, друг мой, так не годится, — ласково сказал доктор, искренне жалея артиста. Он расстелил на столе старую газету. Запер дверь кабинета. Достал из холодильника маленький запотевший графинчик с какой-то прозрачной, как слеза, жидкостью и поставил его на стол. Разложил на газете немного колбасы. Пару соленых огурцов. Соленый творог — шор. Испеченный на садже лаваш. Пучок очищенной, вымытой кинзы… Налил в два грушевидных чайных стакана кизиловую водку. У артиста при одном только взгляде на нее глаза заблестели.

— Вы очень хороший человек, доктор. Я как увидел вас, сразу это понял. — Артист протянул руку к стакану, но не притронулся к нему, потому что доктор не взял свой стакан. Взгляд доктора Фарзани был устремлен к умывальнику. И артист понял, что хочет этим сказать врач. Он вымыл руки с мылом, вернулся и сел.

— Выпьем? — улыбнувшись, сказал доктор и выпил водку. Взял кусок лаваша, подхватил им немного шора и отправил в рот.

— За ваше здоровье, доктор! — Нувариш выпил стоя, поморщился и сел.

— Закусывай колбаской. Ешь как следует, — велел гостю врач. Однако сам к колбасе не притронулся. Взял пару веточек кинзы и медленно стал жевать. — Он семейный?

— Семейный, доктор. У него прекрасная жена — Азада ханум. Замечательный стоматолог и хороший человек. Она — дочка доктора Абасалиева, известного психиатра. Может, слышали?

Тут доктор Фарзани всерьез удивился.

— Кто же не знает доктора Абасалиева? — проговорил он. — Он еще жив?

— Жив, доктор. И отлично живет! — вдохновенно ответил пришедший в себя после водки Нувариш. — Еще крепок, как ледоруб. Вот уже год как переехал и живет на даче — в Мардакянах. Я, говорит, с сумасшедшими больше не вожусь. Их теперь слишком много расплодилось.

— Значит, наш друг — зять доктора Абасалиева? — переспросил доктор, снова разливая водку по стаканам.

Нувариш Карабахлы пришел в восторг от того, что доктор наливает водку и что он сказал теперь не “твой друг”, а “наш друг”.

— Да, да, зять. Причем они большие друзья. Просто обожают друг друга. Уже больше тридцати лет проживают вместе. Ну, кто еще есть у доктора Абасалиева? Жена у него

скончалась. Осталась единственная дочь. Вот он и относится к Садаю Садыглы как к сыну.

— Вот оно что… — проговорил доктор, думая о чем-то своем. — И они, кажется, земляки, не так ли? Доктор Абасалиев, насколько я знаю, должен быть из Нахичевани... Ну давай. — Он поднял стакан, выпил и опять закусил лавашем.

— Точно! Они нахичеванцы! — подтвердил Нувариш, опрокинул в себя водку, взял кусок колбасы и проглотил, почти не жуя. — Односельчане, оба из Айлиса. И оба как сумасшедшие любят свое село. Когда бы и где бы ни сходились, только об Айлисе и говорят. Когда-то, говорят, там было много армян. И они — то есть эти армяне — выходит, очень дружно жили с нашими мусульманами. Доктор Абасалиев сильно хвалит тех армян. Таких, говорит, культурных, честных, трудолюбивых людей больше нет нигде в мире. Я часто слышал их разговоры. Когда тесть с зятем начинают говорить об Айлисе, прямо хочется поехать туда и умереть там.

Доктор Фарзани слушал артиста, продолжая думать о своем.

— Так, значит, доктор Абасалиев сейчас в Мардакянах, — скорее сам себе пробормотал хирург, потом ненадолго задумался и спросил: — Он живет там один?

— Конечно, кто у него есть? Только Азада ханум часто бывает у него. Каждое воскресенье с утра уезжает к нему. Остается ночевать, а утром прямо оттуда приезжает на работу. Вы правы, пожилому человеку трудно одному жить на даче. Впрочем, у него времени свободного не так-то много, чтобы скучать. В здешней квартире у него больше тридцати тысяч книг было. Бедная Азада ханум уже целый год таскает их из Баку в Мардакяны. А доктор Абасалиев посиживает на даче и читает себе эти книги. Говорят даже, сам стал писать.

— А что, детей у них нет, что ли?

— Нет, доктор. С одной стороны, конечно, это и хорошо, что у такого человека, как Садай Садыглы, нет детей. Честное слово, это человек не от мира сего. Вечно витает где-то в облаках. Да и характер у него совершенно детский. Еще когда был маленьким, у них в деревне кто-то при нем застрелил лисенка. Так он до сих пор помнит того лисенка. Сколько раз рассказывал мне о нем. И всегда при этом в глазах у него слезы, вот какой он человек!

— Значит, говоришь, и артист он хороший? — бросил доктор явно ради того, чтобы продолжить разговор.

Тут Нувариш Карабахлы пришел в сильнейшее возбуждение.

— Он гений, доктор, клянусь Богом! Это великий артист на уровне Аббаса Мирзы и Ульви Раджаба. И грамотный, впрямь как ученый. Каких книг он только не читал. Но по

характеру упрям, как черт. Уж больно любит стоять на своем. Он еще лет десять-двадцать назад мог получить народного. А до сих пор так и остался, как я, заслуженным. Потому что язык придержать не умеет. В семьдесят девятом его и еще троих наших артистов представили к званию народных. Накануне все только его и поздравляли. А на следующий день в газетах напечатали имена тех двоих, а про него ничего не было. Оказывается, пошел он в тот вечер с кем-то крепко выпил и опять распустил язык: мол, мне не нужно звания, которые раздает налево и направо щедрый ваш Хозяин, пусть это звание я заслужу в глазах народа.

Артист долго копался в кармане. Потом, видно, решившись, вынул из пачки одну сигарету и умоляюще посмотрел на Фарзани:

— Доктор, позвольте хоть затяжечку. Не ругайте меня, ради Бога. Ужасно хочется курить.

Доктор достал из ящика стола маленькую стеклянную пепельницу и поставил ее перед артистом.

— Кури сколько хочешь. Я с двадцатипятилетнего возраста ровно сорок лет курил. Но уже пять лет как бросил. — Он снова разлил водку из графина. — Ну, выпьем еще по одной — и довольно. Вещь хорошая, чистейшая вещь, никогда не вредила. У меня есть знакомый из Казаха. И имя у него интересное — Афтандилом зовут. Как-то перевернулся на машине, все ребра себе переломал. А я его капитально отремонтировал. Теперь он каждый раз, как приезжает сюда, привозит мне пару литров. — Доктор приоткрыл окно, взял стакан и прямо у окна залпом выпил кизиловку. — Так, значит, сказал, что не нужны ему звания, которые раздает власть? А кто же среди ночи донес об этом Хозяину?

— Да уж наверняка донесли, доктор. А то как же из троих именно его вычеркнули? — Артист, докурив сигарету до половины, загасил окурок в пепельнице. — Почему-то власть советскую не любил он с самого начала. Поверьте, терпеть ее не мог. Был, кажется, шестьдесят восьмой год. Один спектакль нашего театра представили к Государственной премии. Пять исполнителей получили, а Садай Садыглы опять остался в стороне. А ведь он играл главную роль. Просто и тогда он не мог приструнить свой язык. Одному из членов Центрального Комитета прямо в лицо ляпнул: мол, то, что у вас в кармане, это — не партбилет, а пистолет. Своим пистолетом вы запугиваете народ, держите его в страхе, чтобы самим жить без страха.

Нувариш, еще не выпив свою третью рюмку, был уже настолько одухотворен, ощущал в себе столько легкости и счастья, что, будь его воля, пустился бы сейчас в пляс. С одной стороны, так на него подействовала выпитая водка, а с другой — радость, что сидит и беседует с таким великим хирургом, как Фарзани. И все мучения, испытанные им в

течение дня, даже приснившийся недавний кошмар были позабыты. Даже сам сукин сын Шахгаджар Армаганов сейчас казался артисту не таким устрашающим. А доктор Фарзани доволен был посвежевшим, поздоровевшим видом своего гостя-артиста.

— Ну давай выпей, — дружески приказал ему доктор. — Значит, партбилет-пистолет! Хорошо сказано. Не в бровь, а в глаз. Если не собираешься кого-то пугать, зачем нашему брату партбилет?

Нувариш выпил водку и решил тоже закусить на этот раз лавашем с шором.

— Да что там пистолет, доктор. Он иногда такое выдавал, скажу — не поверите. Как-то его здорово побили во время застолья в Нардаране9 — попал он на празднование обрезания. А во время такого застолья ведь есть свои правила: если тебе дали слово, ты по тем правилам и должен говорить. А о чем можно говорить, когда празднуется обрезание? О том, какое это богоугодное дело, насколько это важно для гигиены и здоровья. О святых и имамах. Об учении Пророка, где этот обряд считается одним из важных для всех мусульман, о Его великой мудрости… И в самый разгар застолья дают слово Садаю Садыглы как уважаемому гостю. А на него опять что-то находит. Начинает издеваться над обрядом. Потом вообще разошелся, прости меня Господи, стал задевать самого Пророка. Неужели, говорит, ваш Пророк умней Бога? Если б в теле человека было что-то лишнее, разве же Бог был слеп, чтобы не видеть этого? Как же это получается, что Господь не ошибся, создавая лицо, глаза, нос, уши, и все сделал правильно, а как дошло, черт возьми, до этого места, вдруг взял да ошибся, как школьник? Да кто велел вашему Пророку исправлять ошибку Бога?..

А нардаранцы никогда в жизни таких речей не слышали. И такое тут поднялось! Не было таких ругательств, которыми деревенские аксакалы не наградили Садая. Даже женщины, которые за столом не сидели, кричали из-за забора: “Будь ты проклят!” В конце концов, когда застолье закончилось, нардаранская молодежь ему здорово бока намяла. Так избили беднягу, что он потом целых три месяца не мог выйти на сцену. Говорят, сам Шейх — глава всех мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде лично посетил Садая в больнице, чтобы уговорить его публично извиниться перед всеми нардаранцами. Потому что оскорбленные нардаранцы потом запросто могли убить его.

Артист рассказал эту трагикомическую историю с восторгом, да еще, разумеется, немного приукрашивая. Вдруг он взглянул на доктора, заметил, что выражение его лица совершенно изменилось, и испугался, не перебрал ли он. Артисту показалось, что его рассказ доктору очень не понравился. Поэтому он торопливо и встревожено добавил:

— Откуда мне знать, может, всего этого вовсе не было. Может, придумал это такой же дурак, как и я, шут какой-то похуже меня. — И он умолк, сильно расстроившись и,

видимо, решив, что смертельно опасная шутка Садая с богобоязненными нардаранцами оскорбила религиозные чувства и доктора Фарзани.

Но Фарид Фарзани не был фанатичным мусульманином. Доктор не соблюдал поста, не совершал намаза. Однако, живя в Москве, старался по мере возможностей придерживаться правил и законов, установленных своей религией и Пророком. И основной причиной внезапного переезда Фарида Фарзани из Москвы в Баку была как раз более или менее сохранившаяся в нем верность своей религии. Если бы всего три года назад в Москве ему рассказали то, что когда-то наговорил о Пророке артист, без сознания лежавший сейчас в палате, доктору потребовалось бы много усилий, чтобы выслушать это. Увиденное им за три года в Баку, однако, резко изменило его отношение и к религии, и к родине, и к самому Пророку. Особенно поражен был доктор жестокостью мусульманского населения города к армянам, возможно, потому, что подобной жестокости со стороны армян он лично никогда не видел.

— А Шейх тоже нахичеванец? — задумчиво спросил доктор, явно озабоченный и подавленный.

Вопрос удивил артиста.

— Да нет, откуда? Шейх ленкоранец, талыш. И человек вроде бы хороший, мягкий. — Артист немного помолчал, подыскивая слова. — Честно говоря, мне неудобно спрашивать. А вы сами, доктор, откуда родом будете? Фамилия у вас, кажется, иранская.

— Я и есть иранец. — Доктор глубоко вздохнул. — Мой отец однажды сглупил и привез меня сюда. А я сам сглупил еще хуже — из Москвы сюда приехал. Там я пятнадцать лет работал хирургом в больнице Склифософского. — Последние слова доктор произнес с особой гордостью, опять налил немного водки в стаканы и добавил: — Давай выпьем за здоровье нашего безбожника. Пожелаем ему больше не попадаться в руки дикарей. — И в первый раз доктор чокнулся стаканами.

Артист все более ощущал симпатию со стороны хирурга и по-детски бурно радовался этому.

— Да, да, выпьем, доктор, пожелаем, чтобы он больше не попадался в лапы зверей, подобных тем бесчувственным еразам. Только, доктор, жена его давно уже предчувствовала это. Она знала, что однажды с ним случится такое. И старалась, чтобы муж совсем не выходил на улицу. Он и не выходил. Только вчера на пару часов зашел в театр. Я сам позвонил ему из кабинета директора и еле уговорил прийти. Потому что и театр надоел ему. Он не приходил даже за зарплатой. Один только Бог знает, зачем он сегодня оказался в городе.

— Кури, кури спокойно. — Доктор Фарзани решил избавить от мучений артиста, опять копавшегося в кармане. Он подошел к приоткрытому окну и широко распахнул его. — Такой человек вряд ли и дальше сможет жить в этом городе, — сказал он дрогнувшим голосом и, ссутулившись, напряженно задумался.

Да, артист верно заметил: настроение доктора Фарзани действительно неожиданно изменилось. И не потому, что на него вдруг напала усталость или ему почему-то не понравился рассказ артиста. Дело в том, что слова, произнесенные артистом на празднике обрезания, доктор в свое время слышал от собственной жены: “Ваш Пророк умнее Бога, что ли?” Когда-то они потрясли Фарида Фарзани. Из-за них и распалась в Москве его прекрасная семья. Именно эти оскорбительные и глубоко ранившие его слова стали причиной его теперешней холостой и безрадостной жизни в этом, в сущности, чужом городе.

Судьба порой приносит удивительные подарки: женатый на русской, многие годы не ощущавший в Москве никакой психологической дисгармонии, счастливый отец единственной дочери, Фарид Фарзани после рождения сына вдруг ни с того ни с сего стал терять душевное равновесие. Когда сын был еще младенцем, вопрос его обрезания уже превратился для отца в настоящую проблему. И проблема эта росла по мере того, как рос сын. Навязчивое беспокойство довело его до того, что доктору стали сниться кошмары, чего с ним раньше никогда не случалось. Когда сыну исполнилось двенадцать лет, однажды утром Фарид Фарзани высказал жене свое твердое намерение: “Таков закон, завещанный Пророком. Я не имею права нарушить его”.

И услышав от жены: “Ваш Пророк умнее Бога, что ли?”, от ярости готов был биться головой о стену.

Как раз в то самое утро, когда жена ушла на работу, а дочка — в школу, доктор Фарзани, легко уговорив сына, всего за десять-пятнадцать минут сделал то, что Пророк считал первейшей обязанностью каждого мусульманина перед Аллахом. Кто бы мог подумать, что для опытного хирурга больницы Склифосовского эта простенькая операция окончится осложнениями? Однако то ли от испуга, то ли по какой иной причине, но к вечеру температура у мальчика поднялась до сорока. И мать, которая, вернувшись с работы, увидела сына в таком состоянии, от изумления потеряла дар речи. Она не сказала мужу ни слова, не сделала попытки сбить температуру у сына — просто в ужасе смотрела на ребенка. Потом бросилась в ванную, закрылась изнутри, и из-за запертой двери долго слышались ее рыдания и всхлипы.

Оказывается, любовь русских женщин очень легко может перерасти в ненависть. Хотя уже наутро мальчик поднялся и спокойно разгуливал по дому, жена Фарзани навсегда

прервала свои отношения с мужем. Она немедленно подала на развод и разменяла их трехкомнатную квартиру в центре города на две двухкомнатные в отдаленных районах. Прожив несколько лет без семьи, Фарид Фарзани в 1986 году обменялся квартирами с русским бакинцем, переехал в Баку и в первый же день понял, какую непростительную ошибку совершил.

Сейчас сыну Фарзани шел двадцатый год. Но в памяти отца он так и остался двенадцатилетним. И невинные, растерянные глаза мальчика много лет жестоко преследовали доктора. Весь ужас заключался в том, что мальчик, не издавший ни звука во время операции, потом, когда доктор закончил свое дело, взглянул на отца с таким убийственным презрением, что забыть этот взгляд было невозможно. Фарзани прочел в глазах мальчика, что тот никогда не простит ему этой операции. Лишь много позже доктор стал понимать, в чем состояла суть его греха. Мальчику было все равно, отрезал ли он ему кусок кожицы от крайней плоти или целый палец, потому что для ребенка, воспитанного в московской среде, было непостижимо, во имя чего отец так поступил с ним. Мальчик воспринял это как физическое насилие над ним со стороны отца, как жестокость и дикость, не имевшие никакого смысла. В то утро доктор ясно прочел в глазах безмерно любимого и заласканного сына, что стал для него чужим. И напрасно он утешал себя тем, что пройдет время и отчужденность исчезнет. У отца не хватило сил побороть ее, а сын к этому и не стремился. За то время, что доктор Фарзани жил в Баку, дочь дважды приезжала к нему. И сейчас хотя бы раз в неделю звонила, справлялась о его здоровье, расспрашивала, как он живет. Сын ни разу не приехал в Баку и ни разу не позвонил.

Да, сын был слабым местом доктора Фарзани. Рассказ артиста, судя по всему, задел именно эту слабую струну, разбередил рану, растравил ее. Он впал в совершенно не свойственное его характеру мистически-меланхолическое настроение и всячески старался выйти из него.

— Да он же прирожденный Дон Кихот! — с наигранной веселостью воскликнул Фарзани. — Дон Кихот — вот настоящая роль для него. Выздоровеет — я ему об этом скажу. Как думаешь, не обидится?

Артист с удивлением посмотрел на доктора, потому что знал: “Дон Кихот” — любимое произведение Садая Садыглы.

— Скажите, почему же нет. — Опять разволновавшийся артист снова сунул руку в карман в поисках сигарет. — Он сто раз перечитывал “Дон Кихота”. Сервантес его самый любимый писатель. А из наших он больше всех ценит Мирзу Фатали Ахундова. А в жизни у него один кумир — его тесть, доктор Абасалиев, и еще какая-то его односельчанка,

армянка по имени Айкануш, он всегда рассказывает о ней с любовью. — Нувариш Карабахлы выпалил все это единым духом и, вытащив руку из кармана, кротко посмотрел на доктора.

“Дон Кихота” доктор Фарзани читал как минимум два раза, о Мирзе Фатали Ахундове кое-что знал, а уж ту армянку Айкануш, безусловно, знать не мог. Зато он был хорошо знаком с доктором Абасалиевым. Они не раз встречались на различных медицинских симпозиумах в Москве, Ленинграде, Праге, Варшаве…

— А где работает дочь доктора Абасалиева?

— Сначала она работала в лечкомиссии. А сейчас на проспекте Нефтяников открылась новая стоматологическая клиника, и Азада ханум работает там. — Артист посмотрел на часы. — Только сейчас ее на работе не будет. Наверное, она уже дома.

— Ты же говорил, что она в эти дни ездит в Мардакяны к отцу.

— Да, ездит… — Вдруг в голове артиста словно просветлело. — Сегодня ведь воскресенье, доктор, да?! Вот дурная голова, опять забыл и все время мучаюсь, как мне пойти сказать обо всем Азаде ханум. Это же просто отлично, доктор. Пусть Азада ханум пока ни о чем не подозревает. А завтра, Бог даст, ему станет лучше, сознание вернется, и Азаде ханум не так тяжело будет увидеть мужа. Они так любят друг друга. Детей у них нет, вот они и отдают друг другу любовь, не растраченную на детей. — Договорив, он краем глаза посмотрел на стол. — Вы позволите, я здесь приберу?

— Не беспокойся, уберут без тебя. — Доктор отнес полупустой графин в холодильник. — У тебя есть телефон Азады ханум?

— Рабочего нет, а их домашний я знаю.

— Тогда запиши мне. Наверное, и у доктора Абасалиева на даче телефон имеется?

— Телефон-то есть, только вот номера его я не знаю.

Доктор Фарзани пожал руку артисту.

— Ну, ты иди, отдохни эту ночь как следует. А у меня еще много дел.

— Доктор! — воскликнул Нувариш Карабахлы и так жалобно посмотрел на Фарзани, что тот и без слов понял, что он хотел сказать.

— В палату мы не пойдем, — заявил он. — Это бессмысленно. Да ты не беспокойся, там все в порядке. Я выделил ему отличную палату, потом сам увидишь и убедишься. С телефоном, телевизором — не палата, а ханский дворец. — Доктор взглянул на бумажку с номером телефона, который записал ему артист. — И с семьей его я свяжусь, — добавил он, — ты ни о чем не беспокойся.

Была ночь: холодная декабрьская ночь 1989 года. Нувариш Карабахлы очень боялся идти домой. И именно страх этот рождал в его душе ощущение беспомощности и безысходности.

Если б он мог решиться, то вернулся бы в больницу и хотя бы на одну ночь попросил себе там приюта: всего одна больничная койка, в любой захудалой палате… По мере удаления от больницы артист чувствовал, как растет в нем почти физически ощущаемая боль одиночества, и оттого вечер, проведенный с доктором Фарзани, уже превращался в его памяти в далекое, ставшее недостижимым приятное воспоминание.

Сидеть у постели Садая Садыглы доктор Фарзани поручил одной из тех медсестер, которые ассистировали ему во время операции, — семидесятилетней опытной, со стажем Мунаввер ханум. Старые работники больницы звали проработавшую здесь более пятидесяти лет Мунаввер ханум просто Мира ханум. Некоторые — Мина ханум. Что касается доктора Фарзани, то он называл эту знающую свое дело опытную медсестру в зависимости от собственного настроения. В обычном настроении он звал эту седую женщину, примерно ровесницу свою, просто Мунаввер или фамильярно — сестра. А в хорошем эта незаменимая сотрудница отделения травматологии и хирургии всегда была для него Минашей. И это каждый раз доставляло Мунаввер ханум большую радость.

Запереться после каждой операции у себя в кабинете и выпить пару рюмок водки было неизменной привычкой доктора Фарзани. Когда никаких операций не было, хирург ближе к вечеру все равно запирался в кабинете и на какое-то время полностью отключался от больничной жизни. Пил он всегда в одиночестве, сегодня впервые был в кабинете не один. Поэтому медсестра очень беспокоилась: с одной стороны, она боялась, что в этот раз он выпьет больше своей всегдашней нормы, а с другой — просто ревновала: обычно доктор делил свое одиночество только с ней.

И еще дотошную и законопослушную Мунаввер ханум беспокоило, что доктор Фарзани дал указание положить больного в палату, предназначенную для высшей номен-клатуры, находившуюся в личном распоряжении главврача, и, быть может, сделал это без его санкции.

— А вот и я, Минаша! — Так приветствовал старую медсестру доктор Фарзани, входя в палату в наброшенном на плечи белом халате. Теплота этого обращения, как обычно, бальзамом разлилась по сердцу Мунаввер ханум. Наверное, Маша позвонила из Москвы, подумала она, потому что только после звонка дочки доктор Фарзани бывал так весел и счастлив.

— Ну что, наш артист не собирается возвращаться с того света? — спросил доктор, меряя пульс больного. — Ну и сердце у него, Минаша. На теле живого места не осталось, а сердце работает как часы.

— Эх, Фарид Гасанович, если бы вы знали, каким я его видела в лучшие его годы! — взволнованно-печально отозвалась медсестра. — Были времена, когда люди толпами шли в театр, только чтобы увидеть его на сцене. Если б вы знали, как он играл Айдына! Это было так замечательно, что даже мужчины в зале плакали. — Растроганная медсестра еле сдерживала слезы. — Видите, какое сияние исходит от лица его? И это после стольких мук! Я вот все сижу здесь, гляжу на него, никак не нагляжусь.

— Да, крепкий мужик, — согласился доктор, отошел от постели больного, недолго постоял у окна. Потом вернулся и сел в кресло рядом с Мунаввер ханум.

— Только, доктор, — медсестра понизила голос, — вы бы сказали главврачу, что мы разместили нового пациента в этой палате. Просто из этики.

— Я предупредил его… — неохотно ответил доктор и, встав с кресла, опять подошел к окну.

У медсестры словно гора с плеч свалилась. Она быстро поднялась и бегом направилась к двери.

— Я пойду, приберу у вас в кабинете, — сказала она, выходя, а потом опять заглянула в палату. — Чай вам сюда принести?

— Принеси. Только не забудь спросить разрешения у главврача, — смеясь, ответил доктор.

После ухода медсестры доктор снова подошел к окну. Эта привычка — стоять по вечерам у окна и смотреть на опустевшие улицы появилась у него недавно. Странным было, что уже несколько месяцев на улицах Баку не только по вечерам, но даже и днем нельзя было увидеть людей, идущих поодиночке или парами. Сейчас люди ходили толпами, стадами. И полновластное право говорить, кричать и славословить было дано лишь этим толпам. И еще страннее было то, что количество слов, которые выкрикивали эти существа, было равно количеству слов, которые, наверное, использовали во время охоты первобытные люди:

Сво-бо-да!

От-став-ка!

Ка-ра-бах!

В последние дни эти люди пополнили свой словарный запас еще тремя фразочками:

Ты ар-мя-нин!

Смерть те-бе!

Вот и все!10

— Вот и все! Вот и все! — пробормотал про себя доктор Фарзани и отошел от окна.

На желтоватом лице больного он заметил отчетливый след от слезинки, скатившейся по щеке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О ГОСПОДЬ ВСЕМОГУЩИЙ, БУДЬ ДОБР,СКАЖИ МНЕ, ТЫ ПОРОДИЛ МОЙ АЙЛИС ИЛИ АЙЛИС МОЙ ПОРОДИЛ ТЕБЯ?..

О Боже, что это за место!

Неужели этот мир ступенек, тянущихся от крутого берега реки вверх по склону горы, действительно был в Айлисе?.. Что же это был за Айлис, где единственное узкое ущелье вдруг становилось огромным, как мир. Неужели Айлис стал так велик или же кто-то собрал все высеченные из камня ступеньки и уступы мира и выстроил их сколько хватает глаз в этом самом узком ущелье Айлиса?

Что это за место, о Бог мой!

Быть может, это горловина Каменных ворот вавилонского бога в Месопотамии? Или Акрополь?.. Быть может, эти ступеньки и уступы вели вверх прямо к Парфенону? И почему эти дугообразные ступеньки так напоминают каменные сиденья в театре Диониса?..

Быть может, этот каменный мир в верхней части Айлиса, именуемой Вурагырд11 , можно было бы назвать ГАРМОНИЕЙ. Но пока этого сказать нельзя. Потому что с каменного уступа, на котором стоит Садай Садыглы, еще не видно ни одного камня церкви, находящейся в Вурагырде. К тому же ведь в этот мистически чудесный мир он пришел именно в поисках гармонии, и если то, что видел артист, и есть гармония, то не теряет ли всякий смысл весь его дальнейший путь... Чтобы хоть издали увидеть то место, куда стремился артист, ему надо было еще долго карабкаться вверх по каменным ступенькам, но ноги его отказывались идти, руки не слушались, а тяжесть в голове мешала двигаться телу. Стоило артисту подняться хоть на одну ступеньку, силы тут же покидали его. Тогда Садай Садыглы ложился на холодный уступ, немного приходил в себя и опять начинал двигаться к величавой церкви, построенной из тесаного красного камня, которой пока не было видно. И всякий раз, когда начинал двигаться он, приходили в движение и уступы, возвышающиеся над ним. В этом состоящем из ступенек каменном мире, тянущемся от берега реки до самых небес, происходили землетрясения, начинали качаться и дрожать

уступы, и вместе с этим дрожащим и качающимся каменным миром Садай Садыглы вновь начисто забывал, где находится и что ищет, погружаясь в абсолютный мрак Ничто и Нигде.

Именно в этом своем мире пребывал артист с той минуты, как потерял сознание.

Когда сегодня утром, между одиннадцатью и двенадцатью часами, он вышел из дома и направился в сторону Парапета, некая таинственная сила вновь увлекла мысли Садая Садыглы и опять перенесла его в Эчмиадзин. Садай Садыглы никогда не был в Эчмиадзине. Однако в эти последние дни чуть ли не каждую ночь во сне шел среди каких-то отвесных камней и скал в его сторону, и в каждом из этих снов он блуждал именно на полпути к церкви Вурагырд среди бесчисленных каменных ступеней-уступов, о которых много читал в книгах и которые видел в кино.

Желание отправиться в Эчмиадзин, чтобы с благословения самого католикоса принять христианство, навсегда остаться там монахом и молить Бога простить мусульманам зло, которое они совершали над армянами, неожиданно возникло в душе Садая Садыглы в одну из ночей после событий в Сумгаите. И позже Садай Садыглы уже не мог понять, во сне или наяву пришло к нему это желание. Однако в то утро он проснулся преисполненный радости, умылся, с аппетитом позавтракал, с удовольствием выпил чаю и, не в силах сдержаться, возбужденно поделился с женой этой новой фантастической идеей. Азада ханум, и без того в последнее время испытывавшая серьезное беспокойство о психическом состоянии мужа, в тот день на работе не находила себе места, а вечером позвонила в Мардакяны и, чуть не плача, рассказала обо всем отцу.

Доктор Абасалиев, навсегда распрощавшийся с медициной и едва ли не со студенческих лет страстно собиравший из разных источников любые факты из истории Айлиса, без особых затруднений поставил зятю диагноз: “Маниакально-депрессивный синдром, — сказал он, и, словно устыдившись серьезности своих слов, постарался все перевести в шутку: — Он что, едет сделать католикосу обрезание? Пусть едет, не останавливай его. В лучшем случае он доберется до Вурагырда. — А потом, резко сменив тему, с юношеским жаром стал рассказывать о своем новом увлечении. — Азя, я вчера нашел в одной из книг дневник того армянского купца. Этот Закарий был не очень грамотным человеком, но хорошим купцом. И дневник вел только для того, чтобы и после него купцы знали основные приемы торговли. Азя, как этот человек любил Айлис!.. Я просто поражаюсь: ведь что такое для армян этот Айлис? Зачем им надо было создавать этот райский уголок среди переполненных шакалами и змеями гор, где камней в миллионы раз больше, чем воды и земли? Разве мало было на земле места армянам? Я не могу сказать, почему Эчмиадзин столь широко славится. Мне приходилось раза три-четыре бывать там. Однако

сейчас, на старости лет я понимаю, что истинный дом Бога — Айлис. Этот Эчмиадзин в сравнении с Айлисом — просто сопливый малыш. Ты передай Садаю, что эчмиадзинский католикос в качестве наставника ему не подходит. Пусть приезжает сюда, к своему более осведомленному в делах Божьих учителю, — шутя добавил доктор Абасалиев.

— Перестань, папа! Ты все превращаешь в шутку, — сказала Азада ханум несколько раздраженным голосом. — Он болезненно переживает судьбу каждого бакинского армянина, как будто только он обязан беречь их от всякого посягательства. Любой армянин стал для него дороже него самого. Как будто все они ангелы небесные, а мы — только палачи, жаждущие их крови. Он только о тех айлисских армянах и думает и никак не может понять, что нынешние армяне не намного лучше этих наших безмозглых крикунов. Он никак не может забыть ту резню, которую тогда устроили в Айлисе турки и которой сам он не видел. Это ты, папа, сделал его таким.

— Нет, доченька, я здесь почти ни при чем. Он с рождения — человек честный, совестливый и ранимый. И не в том дело, какими стали теперешние армяне, а в том — какие сейчас мы. Садаю нет дела до тех или нынешних армян. Он думает только о нашей с тобой нации. Ты же знаешь, как искренне любит он свой народ, этим он как раз и отличается от разношерстных безмозглых крикунов, которые расплодились теперь по всему миру, как грибы после дождя. — Доктор сделал продолжительную паузу. Потом начал говорить до боли знакомым дочери теплым и ласковым голосом. — Ты же читала, доченька, “Лейли и Меджнун”. Вспомни, что творит там Меджнун, когда армия его племени идет на последний штурм против армии племени отца Лейли. Ведь война-то начата ради того, чтобы наказать жестокого отца Лейли, не желающего выдать свою дочь за человека из другого племени. А Меджнун, ослепший от любви к своей Лейли, жалея ее отца, в самый ответственный момент бросается помогать вражеской армии. Потому что это и есть подлинная любовь. Подлинная любовь не знает никаких границ. Так можно любить и женщину, и Родину. Любовь эта — чистое зеркало, доченька, в ней отражаются только доброта и милосердие. Она не от жизни, а от Бога. Вот чем болен и он — наш Меджнун. И как хорошо, моя девочка, что от такой болезни еще не найдено лекарства, — заключил доктор Абасалиев со слезами в голосе, признавая свою беспомощность в создавшейся ситуации.

Тогда же доктор Абасалиев чуть ли не целый час читал дочери по телефону лекцию об Айлисе. И этот телефонный разговор не только не успокоил Азаду ханум, но еще более усугубил ее тревогу, она была в полнейшей растерянности: ей казалось, что все мужчины кругом начинают потихоньку сходить с ума.

“Эта наша церковь в Ванге — абсолютная копия эчмиадзинской”. Эти слова доктор Абасалиев в свое время сказал будущему зятю во дворе Вангской церкви. Интересно только — откуда артист знал, что одна из многочисленных дорог, ведущих в Эчмиадзин, проходит как раз через Вангскую церковь?..12 Во всяком случае, он уже пядь за пядью, сантиметр за сантиметром преодолел этот состоящий из ступеней и уступов мучительный каменный мир, похожий на Вурагырд.

О Господи, это же она — Вангская церковь…

Желтовато-розовый солнечный луч, проходя сквозь крону высокой, словно точеный тополь, черешни, падал на самый центр каменного купола церкви и далее сиял, не меняя ни цвета, ни силы, на вершине стоявшей поодаль горы. Этот свет, то появляющийся, то медленно гаснущий и исчезающий с церковного купола и вершины горы, Садай Садыглы однажды, будучи в прекрасном расположении духа, сравнил с улыбкой Бога, сиянием глаз Всевышнего. Это давно знал и сам Господь. Ведь без Его благословения откуда бы Садай Садыглы, пребывающий без сознания в бакинской больнице, мог сейчас так близко, так явственно увидеть Вангскую церковь в Айлисе, желтовато-розовый свет на ее куполе, ее двор, сад и ту самую высокую, словно тополь, уходящую в высь неба черешню!..

Было начало летней поры. Июнь 1952 года.

Вербы уже отцвели. С ветвей лоховых деревьев, жасминов и акаций еще свисали гроздья цветов. И еще — аллея пестрых разнообразных цветов, посаженных перед церковью Анико, которую все в Айлисе звали Аных. И еще — наполняющие сердце сиянием свежести только-только расцветающие подсолнухи, посаженные в церковном дворе живущим недалеко от церкви Мирали киши, превратившим Божий дом в собственную кладовку для дров, сена, соломы.

Желтовато-розовый свет на высоком куполе, казалось, рассказывал таким же высоким, как и он, горам о существовавших здесь когда-то чистоте, возвышенности, просторе и красоте мира. И Люсик опять была там, во дворе красы церквей — Вангской церкви: художница Люсик, внучка Айкануш, девочка лет тринадцати-четырнадцати. Тем летом Люсик в первый раз приехала из Еревана на летние каникулы в Айлис и с первого же дня с утра до вечера не покидала церковного двора. Ну сколько же раз можно было рисовать одну и ту же церковь?.. А может, церковь была только предлогом? Быть может, и Люсик видела в этом появляющемся по утрам и вечерам на куполе желтовато-розовом свете улыбку Бога и верила, что ее можно нарисовать, и потому, так прочно обосновавшись в церковном дворе, днями напролет рисовала одно и то же?.. А может, она уже тогда знала, что эта церковь — “абсолютная копия” эчмиадзинской. А Садаю еще предстояло узнать об этом.

Тогда Садай даже не слышал имени своего будущего тестя.

Для Айлиса стало большим событием, когда доктор Абасалиев после долгих лет появился в Айлисе с дочкой: было начало 60-х, Садай учился в институте.

Некогда отец Зульфи Гаджи Гасан торговал в Иране, Ираке, Анатолии, а в Айлисе у него были своя земля, хозяйство, скот и другая собственность. Об армяно-азербайджанских столкновениях Гаджи Гасан услышал, будучи в Исфагане, и, вернувшись, забрал самые ценные вещи из своего огромного состояния и навсегда переехал с семьей в Баку.

Когда через много лет доктор Абасалиев появился в Айлисе, верхний этаж их двухэтажного дома в мусульманском квартале был почти полностью разрушен. Относительно благополучно сохранились всего две комнаты на первом этаже. Приведя в порядок одну из них, доктор Абасалиев зажил там с дочкой и одновременно стал строить в другом конце двора маленький однокомнатный, с небольшим коридором домик для себя. При активной помощи односельчан, не прошло и месяца, как строительство было закончено, даже крышу успел покрыть шифером, которого не было тогда ни на одной из айлисских крыш.

Занимаясь строительством нового жилища, доктор Абасалиев не забывал и об отдыхе. Каждое утро, еще до рассвета он отправлялся в дальнюю прогулку до Ванг-ской церкви. Там, в роднике, бьющем во дворе церкви, умывался чистой как слеза водой, выпивал натощак стакан этой воды и наполнял ею привезенный из Баку большой термос, чтобы использовать дома.

Весь род Абасалиевых пользовался в Айлисе большим уважением. И это уважение доктор Абасалиев чувствовал на каждом шагу, что, вне всякого сомнения, его очень радовало. Проявляемые к нему почет и уважение лишь прибавляли удовольствия тем летним дням, проведенным в деревне, усиливали ощущение спокойствия, свободы, упрощали и облегчали отношения между айлисцами и их знаменитым односельчанином.

Доктор Абасалиев мог спокойно войти в любой дом, побеседовать с хозяином. Он свойски поругивал женщин, которые не подметали свой участок у калитки или загрязняли мусором берег реки. Поддерживал больных и по мере возможности помогал беднякам… И он, всего один раз поговорив с превратившим церковь в собственный амбар Мирали киши, навсегда положил конец войне, которую долгие годы вела армянка Анико с этим своенравным стариком: старик в тот же день не только освободил церковь, но и хорошенько убрал и вымыл там все, а ключи собственноручно вручил Анико.

По рассказам доктора Абасалиева, в свое время в Айлисе было целых двена-дцать церквей. Садай Садыглы знал места восьми из них. Местонахождение остальных четырех руин не было известно даже доктору Абасалиеву. Собственно, и эти восемь церквей

нельзя было в полной мере назвать церквями, потому что сейчас остались от них лишь жалкие развалины.

Самую древнюю из них айлисцы называли Истазын. Даже сейчас в Айлисе почти никого невозможно убедить в том, что в действительности это не Истазын, а Аствацадун, что на армянском означает “Божий дом”, и эти развалины, от которых целыми сохранились лишь две стены да два подвала, были некогда для армян их Меккой и Мединой.

Уцелевшие подвалы этой “армянской Мекки”, стоящей на значительном расстоянии от деревни, у подножия голых гор, где не росло ни единого деревца, не было ни клочка тени, где в жаркие дни земля, камни, гравий — все было раскалено, как тендир, и полыхало жаром, эти подвалы служили теперь укрытием для пастухов и скота, а ее разрушенные стены стояли словно лишь для того, чтобы напоминать людям, что все на земле преходяще, пусть даже это есть сам Божий дом.

Другие же три церкви (никто в Айлисе и не помнил, когда они были разрушены) назывались Аг килсе, Етим килсе и Мейдан килсеси13. А сохранившиеся церкви — в Вурагырде, Ванге, Каменная церковь и Доп — хоть и остались без Бога и без присмотра, однако еще не полностью утратили свое былое величие. Как строились эти четыре церкви, за каждой из которых в буквальном смысле слова стояла одна гора, мусульманское население Айлиса, естественно, никогда не видело. Однако, чтобы увидеть гармоничное единство, которое создавали эти церкви со стоящими позади них горами, нет никакой необходимости быть армянином или знать азбуку истории. Каждая церковь была того же цвета, что и гора рядом с ней, — словно была она из той же горы целиком вырезана и поставлена там, где Богу было легко и удобно созерцать ее. И каждая церковь в отдельности, казалось, была — родное дитя той горы, у подножия которой построена.

Именно от доктора Абасалиева узнал в то лето Садай Садыглы, что слово Ванг означает на армянском “монастырь”. И именно там, во дворе Вангской церкви, увидел в первый раз Садай своего будущего тестя. Там они перекинулись первыми словами, завязался разговор, и с тех пор почувствовали они взаимную приязнь и со временем стали друзьями.

Тем летом они (иногда — вдвоем, а иногда — с присоединявшейся к ним Азадой) много бродили по Айлису, обходя его сады, родники, церкви. Взбирались на горы и холмы. В иные дни, когда погода была попрохладней, вместе переваливали через ближнюю гору и гуляли по соседним селам.

Часто, договорившись вечером, они назавтра встречались в условленном месте. Бывало, и сам доктор Абасалиев утром рано приходил к Садаю и торопил его: “Поспешай, юноша, скоро рассвет”. С тех пор доктор Абасалиев и называл Садая “юношей”.

Каждый из тех летних дней, проведенных с доктором Абасалиевым в Айлисе, на долгие годы отпечатался в памяти Садая Садыглы как настоящий праздник не только интересными рассказами об Айлисе, но и приятной сухой теплотой погоды. Ее свежей зеленоватостью, вкусом воды разных родников и особой приветливостью людей.

Как-то с вечера они договорились встретиться назавтра и отправиться вдвоем в дальний путь — много дальше Вурагырда — на летнее пастбище айлисских чобанов. И раньше, приезжая в деревню на летние каникулы, Садай мечтал хотя бы раз увидеть эти летние пастбища. (Друг детства Садая Джамал, семь лет проучившийся с ним в одном классе, после седьмого класса присоединился к пожилому пастуху и пас с ним в горах колхозное стадо. С тех пор Джамала невозможно было летом застать в деревне. Но Садаю трудно было в одиночку отправиться в горы поискать там своего друга.)

Сначала по ровной дороге они дошли до Вангской церкви, оттуда спустились к реке и вышли на тропинку, ведущую вверх. В маленькой горной речушке Айлиса в ту пору воды было не больше, чем в обыкновенном роднике. И была она не такой холодной, как родниковая, чтобы утолить ею жажду. Но в своем долгом пути, когда им становилось особенно жарко, эта вода приходила на помощь. Тем не менее они смогли дойти только до запруды. Поняв, что без проводников и лошадей или ослов до цели не добраться, они по узким тропинкам, проложенным пастухами, кое-как вернулись обратно и ближе к полудню оказались у Вурагырдской церкви, стоящей на склоне горы — в самой верхней точке Айлиса.

Садай знал эту церковь с детства. Там жило огромное множество голубей, и потому ее второе название в народе было “Голубиный базар”. Когда они вошли в церковь, голубей там не было — разлетелись голуби по садам и пашням, где было в изобилии зерна и воды. И потому сейчас в высоких толстых стенах церкви царила особая, не имеющая ничего общего с реальным миром атмосфера — особый мир тишины и безмолвия, мир без людей и вне времени.

Даже воздух внутри церкви был каким-то неземным — не мирским, нездешним. И длинные прямоугольные лучи света, падавшие из четырех узких окон на куполах, словно были не светом Айлиса — он, казалось, исходил из каких-то далеких и неведомых миров. Даже свет, просачивающийся из недавно образовавшейся чуть ниже купола трещины, создавал внутри церкви мистическое ощущение потустороннего мира.

С детских лет часто снились Садаю каменные ступени, идущие от русла реки вверх к церкви, снилась вымощенная камнем площадка под этими ступеньками и сбегающая оттуда вниз к крутому берегу реки такая же мощенная камнем узкая улочка. Однако в тот день, когда они с доктором Абасалиевым возвращались из неудавшегося путешествия,

Садаю казалось, что и эту церковь, и ведущие к ней каменные дорожки, и ее каменные стены, и эту странную, древнюю, одну-единственную во всем Вурагырде улицу он видит первый раз в жизни. Нечто похожее на сон или сказку было в увиденном тогда Садаем пейзаже дальнего айлисского квартала Вурагырд, а известный в Айлисе Песмис (пессимист) Гулу, который расхаживал у ворот своего дома и громко разговаривал сам с собой, лишь усиливал в душе мистическое настроение, соответствующее этому пейзажу.

Гулу нисколько не изменился. Когда у него начинался приступ, он всегда выходил из дома, крутился перед воротами и целыми днями с утра до вечера с пеной у рта громко и безостановочно разговаривал сам с собой. Мол, кто-то каждый день подсыпает яд в арык, текущий именно в его двор. Этих-то “вредителей” Гулу и осыпал отборной бранью. Он насылал страшные проклятия на головы ребятишек, бросавших камни в его двор, лазающих к нему на крышу. Грозил издали молодым людям, которые якобы давно и страстно хотят соблазнить его горбатую жену и состарившихся больных дочерей…

Доктор Абасалиев достал из кармана банкноту и сунул в карман Гулу. Тот замолчал и долго с удивлением смотрел на доктора Абасалиева.

— Что, Гулу, не узнал меня? — спросил доктор.

Песмис Гулу немного призадумался, потом вдруг хлопнул доктора по плечу и сказал:

— Ты же Зульфи, разве не так? А спутника твоего я сразу узнал. Еще мальчиком он каждый день болтался тут без дела. — Гулу сильно потряс доктора за плечо. — Слушай, Зульфи, а ты как оказался здесь?

— Да вот, пришел посмотреть, как ты тут разбираешься со своими джиннами, — ответил доктор Абасалиев, осторожно подмигнув Садаю. — Ну, Песмис, что они тебе опять нашептывают? Они приходят только по ночам или мучают тебя и днем?

— Тоже мне, нашел о чем говорить! — возмутился Гулу. — А еще доктором считаешь себя.

— Так, значит, с джиннами ты покончил? А посеял что-нибудь в этом году у себя во дворе?

— Конечно, посеял, отчего не посеять! — громко заявил Песмис Гулу, но тут же переменил разговор. — Да разве эти подлецы дадут собрать что-нибудь от посеянного?

— А говоришь, джинны от тебя отстали.

— Как же, отстанут они! Все, кто живут здесь, во сто раз страшней джиннов. — Песмис Гулу пинком открыл ворота. — Вот, полюбуйся сам. Видишь, эти негодяи подсыпали мне в воду отравы — и все мои деревья начали высыхать.

Садай заглянул во двор: деревья в основном абрикосовые, несколько яблонь, груш, фундука и персиков. К черешне была привязана коза, вымя которой свисало ниже колен.

Между кустов барбариса, растущих у стены, копалось несколько кур с цыплятами. Во дворе ничего не было посеяно. Впрочем, и ни одно из деревьев тоже не было похоже на сохнущее.

— Ты же знаешь, юноша, это старый псих. — Доктор Абасалиев сказал это, когда они отошли от ворот Гулу. Идя вниз по мощеной улочке и не отрывая глаз от окружающих домов, он начал рассказывать Садаю совершенно неожиданную, страшную и странную историю.

— Я расскажу тебе кое-что, юноша, только боюсь, что ты и меня сочтешь психом. Здесь, в Айлисе, действительно много джиннов. Под джиннами сейчас я имею в виду духов. Ты знаешь, в чьем доме живет Гулу? Жил здесь когда-то армянин, косой каменотес по имени Минас. И предки его еще с древности были каменотесами. Камни многих церквей — работа предков Минаса. И Минас с самого рождения работал с камнем: изготавливал надгробья, ступки, мельничные жернова и многое разное… Дед этого психа Гулу — Абдулла был таким же бездельником и балбесом, как и его внук. Подрабатывал на базаре носильщиком, таскал из ручья воду в чайхану, зарабатывал какие-то жалкие гроши, тем и пробавлялся. И надо же такому случиться, что, когда Адиф-бей приказал истребить армян в Айлисе, этот шакал Абдулла вдруг расхрабрился. Побежал домой, схватил топор и бросился в дом Минаса. Минас спокойно сидел и обрабатывал камень. Этот пройдоха Абдулла набросился на него с топором и отрубил голову, а потом не пощадил ни жены, ни детей бедняги. Так будь добр, скажи ты мне на милость, разве может теперь этот Гулу спокойно жить в доме Минаса? Не может, Богом клянусь! Дух истерзанного Минаса никогда не даст ему покоя. Бог не настолько забывчив, чтобы простить такую чудовищную подлость.

Мистический пейзаж Вурагырда, видимо, сильно подействовал тогда и на доктора Абасалиева. Он часто останавливался, разглядывая под ногами отшлифованные тысячелетиями речные камни, которыми была вымощена улица. С бесконечным удивлением разглядывал разрушенные и рушащиеся старые дома, не мог оторвать глаз от дворов и деревьев. И быть может, именно в тот день, после разговора с Песмисом Гулу, он с подлинным пристрастием психолога решил исследовать и обосновать внезапно поселившиеся в собственном сознании спорные мысли.

— В каждой айлисской семье, — раздраженно начал он каким-то странноватым голосом, — захватившей армянский дом, есть психические больные: это я тебе как врач говорю. Видел ли ты хоть раз в каком-нибудь из этих домов покой? Давай пересчитаем все дома ниже Вурагырда, если ты в этом сомневаешься. Начнем вот с дома Мырыг Музаффара14 , стоящего рядом с Каменной церковью. Ни сам он, ни его жена психическими

отклонениями не отличались. Потому что дома, в которых они родились и выросли, не были захвачены во время погромов. А вот смотри, какие дети у них: все психически больные. Причем классической формой шизофрении. Я в свое время у себя в больнице лечил двух дочерей Музаффара. И лечил как надо. Сейчас ты можешь встретить этих девушек на улице, у родника. У них вид больных овец. Ни с кем не здороваются, ни с кем не разговаривают. Потому что эта болезнь неизлечима.

Я думаю, это не болезнь даже, а кара. Кара, ниспосланная человеку Богом за его непростительное поведение… Чуть ниже от Мырыг Музаффара стоит дом Кабана Гулама. Ты видишь, в каком состоянии его внук? Залезает на забор и бросается оттуда камнями в прохожих. Теперь посмотри, что творится в других домах, тоже захваченных во время погромов. Гафил — сын старухи Беяз — внешне нормальный человек. Но он тоже шизик. На днях остановил меня на улице и битый час рассказывал, как Мухаммед на черном коне вознесся на гору Синай на свидание с Аллахом. Ну ладно, оставим душевнобольных. Ни один человек в Айлисе, который намеревался тогда улучшить свою жизнь через насилие над армянами, до сих пор не знает покоя. Сам слышишь, как каждый вечер орут и ругаются два сына Газанфара, захватившего дом мугдиси15 Алехсана. Эти братья готовы глотку перегрызть друг другу. Вот так дети несут кару за грех, совершенный родителями. Духи тех, кого мучили мы, не дадут нам жить спокойно. Вот мясник Мамедага на улице зарубил кинжалом дочку священника Мкртыча. Я не видел его в старости. Только те, кто приезжал в Баку, рассказывали, что сдох он как собака. Сначала полностью ослеп, потом его разбил инсульт — рот искривился до ушей. К тому же чертовски страдал подлец от запоров. Когда он тужился в туалете, его стоны доносились до Зангезура. Да и сейчас любой готов плюнуть на его могилу. Одним словом, юноша, я уже не верю, что когда-нибудь здесь наступят лучшие времена. Да вижу, что и сами айлисцы в это не верят.

Немного отойдя от дома Гулу, доктор Абасалиев отворил первую попавшуюся калитку и вошел во двор.

Хозяйка дома старая Нубар сидела на веранде и, перебирая шерсть, громко разговаривала сама с собой. Увидев гостей, она от всей души обрадовалась.

— Входите, входите, — приветствовала она их, — добро пожаловать. Как это ты вдруг вспомнил обо мне, *дохтур?* Говорят, ты уже месяц здесь, а я вижу тебя впервые.

— А кто же виноват в этом? Разве ты выходишь из дома, чтобы можно было увидеть тебя? — Доктор Абасалиев оглядел двор. — Слава Богу, двор у тебя красивый. И воды, кажется, вдоволь.

— Чтобы Господь и тебя всем радовал вдоволь, Зульфи гардаш16 . Пока сил хватает, присматриваю за хозяйством. И воды, на наше счастье, в этом году достаточно. Гораздо

лучше, чем в предыдущие. Вот сейчас растоплю самовар и подам вам чай.

— Не беспокойся, мы сейчас уходим. Зашел на минутку узнать, как ты живешь. Ты все еще одна, что ли?

— Одна, *дохтур*, одна, — жалобно проговорила старая Нубар. — Одну из дочек я потеряла совсем девочкой. Влюбилась в какого-то проходимца, сдуру облила себя керосином и сожгла. Двух дочек выдала на сторону. А сын как уехал и женился на русской, так больше сюда и носа не кажет.

— А ты помнишь армянина, который жил в этом доме?

Старая Нубар удивилась.

— Это же был Аракел, сам лучше меня знаешь. И как будто только вчера и было — как его жена Эсхи бросилась со скалы. До чего же она была красива! Помнишь, как пела на свадьбах? И на их, и на наших, мусульманских… Будь проклят этот Адиф-бей. Когда его армия вошла в Айлис, бедняжка Эсхи тут же тронулась умом. Ты же помнишь: каждый день, как только солнце садилось, она была уже на Хышкешене17 , там поднималась на скалу и с плачем громко пела:

“Адиф-бей, не бей нас, не бей,

Мы цветы Айлиса, пощади нас, пожалей”.

— А кто убил Аракела в этом доме? — неуверенно спросил доктор Абасалиев.

— Так ведь Аракела не дома убили, *дохтур*, — удивленно ответила старая Нубар. — Аракела убил на его земельном участке сын змеелова Абдулали. Я же знаю, к чему ты клонишь, но в этом доме не была пролита ничья кровь.

Доктор всерьез задумался.

— Может быть, — сказал он. — Да, пожалуй, я ошибся. А с кем это ты разговаривала, когда мы вошли во двор?

— Да кто у меня есть-то, чтобы разговаривать? — В глазах старой Нубар появились слезы. — Только с собой и разговариваю.

Слезы старой Нубар явно растрогали доктора.

— А ты веришь в духов, Нубар? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Верю, *дохтур*, Так же, как верю в Аллаха и Пророка! Ведь это духи довели нас до такой жизни, Зульфи, да перейдет мне твое горе. Ты помнишь того иранца из Мараги? Помнишь, что сказал в свой последний приезд, еще задолго до резни армян, этот марагинский купец, который часто приезжал продавать здесь всякие разные пряности, хурму, жвачку, имбирь, корицу?.. “Пока не поздно, уезжайте из этого места, — сказал он, — человек не сможет жить, не зная бед, там, где столько кладбищ”. — Старая Нубар

улыбнулась сквозь слезы и вдруг так тягостно и глубоко вздохнула, что из старческой груди ее вырвался долгий хрип. — Но, честное слово, Зульфи гардаш, мусульмане Айлиса, живи хоть тысячу лет, ни за что не причинили бы зла своим давним соседям. Это после приказа проклятого Адиф-бея наших охватила алчность. Если б твой отец Гаджи Гасан был тогда здесь, может, люди постеснялись бы его, не стали бы грабить армян. Пять-шесть злодеев, давно зарившихся на их имущество, ради этого и обагрили кровью свои руки.

Рассказ старой Нубар доктор Абасалиев слушал с таким вниманием, словно для него это было новостью. Хотя всего несколько дней назад он сам рассказывал эту историю Садаю, причем почти с теми же деталями. Нубар относилась к старому поколению жителей Айлиса. Однако в Айлисе было тогда еще немало людей среднего возраста, видевших своими глазами небывалую резню айлисских армян.

О той резне каждый рассказывал по-своему, исходя из собственных понятий о человеке и человечности. Тем не менее никто из свидетелей тех событий не скрывал увиденного. В рассказах разных людей достоверно присутствовали одни и те же факты. В том, как началось все и как закончилось, мнения людей полностью совпадали.

Дело было так: чтобы армянское население Айлиса заранее ни о чем не догадалось, 30-40 турецких всадников Адиф-бея с раннего утра объезжали все дома, и армянские, и мусульманские, и объявляли, что сегодня будет провозглашено перемирие, для чего все срочно должны собраться во дворе такого-то армянина. После того, как народ собрался в указанном месте, турецкие солдаты отделили мусульман от армян и построили их в ряд в разных концах двора. Вдруг откуда-то раздалась громкая команда: “Огонь!”, и турецкие солдаты, со всех сторон окружившие двор, обрушили на армян град пуль. Многие погибли сразу, оставшимся в живых всем, до последнего человека перерезали горло кинжалами или закололи штыками. Тех, кого можно было закопать тут же, во дворе и в саду, закопали, вырыв ров. Кому не нашлось места во дворе и в саду, побросали в конюшни, погреба близлежащих домов и сожгли. Мусульманские женщины, которые в тот день даже не решились выйти из дома, позже описывали произошедшее так: “Вода во всех арыках целую неделю была красной от крови”. “У Адиф-бея был черный, как ворон, конь. Адиф сидел на нем у ворот дома. Крикнув: “Огонь”, он хлестнул коня плеткой и ускакал. И тут же полился дождь пуль, казалось, рушится небо, сверху сыплется пепел. Поднялся такой крик, какого никто не слышал от сотворения мира. Разом залаяли все собаки во дворах. Закаркали все вороны на деревьях. Перепуганные сороки и голуби мигом исчезли из деревни, улетели прятаться за горами. Казалось, ад разверзся, солнце вот-вот рухнет на землю…”

Садай Садыглы ни разу не слышал, чтобы кто-то вспомнил о той резне в Айлисе без ужаса и сострадания. И все знания Садая о своей малой родине были тесно связаны с этими трагическими событиями.

Лишь после знакомства с доктором Абасалиевым артист начал в полной мере понимать истинную ценность этого маленького географического пространства, именуемого Айлисом, который, быть может, благодаря своей благоустроенности, поражающей воображение чистоте и аккуратности улиц, некогда был прозван “малым Парижем” или “малым Стамбулом”. Только тогда постиг он значение беспримерной культуры, созданной здесь трудом и умом людей, глубоко веровавших в Бога. Доктор Абасалиев, по его собственному выражению, был не просто “фанатиком Айлиса”, он был и его историком, и психологом, и даже своего рода философом. Только от доктора Абасалиева Садай Садыглы услышал, что знаменитый монах Месроп Маштоц именно в Айлисе создал армянский алфавит, что известный писатель Раффи в свое время преподавал в здешней школе… “Айлис, юноша, это Божественное совершенство! — не раз восклицал доктор Абасалиев, обращаясь к Садаю. — И за то, что мы с ним сделали, нам придется отвечать перед Богом в Судный день”.

По словам доктора Абасалиева, некая армянская девушка, которой удалось спастись от резни 1919 года, вывела во Франции новый цветок, который назвала Агулис, то есть Айлис. А в Тбилиси живет художница Гаяне Хачатурян, которая с девяти-десяти лет всю жизнь рисует только айлисские церкви. Одним словом, из рассказов доктора Абасалиева выходило, что Айлис — и есть одно из 1001 имен Бога. И, возможно, его любовь к Айлису не имела никакого отношения ни к армянам, ни к мусульманам. Это было, скорее, еще одним своеобразным и поистине благородным проявлением верности человека Истине.

“Эта Нубар еще с девичества была очень умной. Она тогда еще ходила к учившемуся в Стамбуле Мирзе Вагабу, чтобы научиться читать и писать”. — Доктор Абасалиев произнес эти слова, когда они уже далеко отошли от дома Нубар. Он, кажется, был расстроен их визитом к ней — потрясен то ли ее бесконечной искренностью, то ли чем-то иным. И если б они чуть позже не встретились с Зохрой арвад, то, наверное, вернулся бы домой в плохом настроении.

Распахнув одну створку ворот, судя по всему, чтобы видеть проходящих по улице, Зохра арвад удобно устроилась на ступеньках, ведущих на веранду, и пила дымящийся чай. Весь двор от калитки до самых ступенек на веранду был чисто подметен и обрызган водой. Вдоль длинной аллеи, усаженной различными цветами, через весь двор тек узенький ручеек воды. Двор Зохры арвад во всех смыслах ласкал взор. Особую прелесть придавали

двору выращенные в специальных крупных горшках лимонные деревца, стройно стоявшие у ручейка перед верандой.

Эти горшечные18 лимоны раньше принадлежали Айкануш: Садай давно и хорошо знал их. Но самым странным было то, что и доктор Абасалиев с первого же взгляда узнал лимоны Айкануш.

— Слушай, ты зачем притащила сюда лимоны Айкануш? — еще не входя во двор, от самой калитки спросил он.

— Что? Увидел лимон, так сразу слюнки потекли? А такую красавицу, как я, опять не замечаешь?

— Да что осталось-то от твоей красоты? Вся расползлась, эх ты, душа моя Зохра!

Между ними, видно, были давние дружеские отношения, что позволяло им подшучивать друг над другом.

— А с тобой-то что? Вот ты — весь, как конфетка. — Зохра арвад принесла с веранды три старых табуретки и поставила их около ручейка, под лимонами. — Проходите, садитесь. Я сейчас подам вам хороший чай — *индейиский*. Откуда вы идете в такую жару? — Зохра арвад принесла два стакана, поставила их на один из табуретов, сорвала с ветки зрелый лимон и, нарезая его, спросила: — А почему ты жену свою не привез?

— Сама не захотела. — Доктор Абасалиев налил чай в блюдечко и, дуя на него, с удовольствием прихлебывал. — У нее сердце немного не в порядке, Зохра. Она уже боится далеко ехать.

— А дочка твоя, говорят, будет зубным врачом? Пусть будет, дай ей Бог. Какая мне польза от такого доктора, как ты? Может, хоть дочка твоя поставит мне новые зубы, — сказала Зохра арвад, поглаживая свои беззубые десны.

Настроение доктора Абасалиева постепенно улучшалось.

— А что ты сделала с несчастным Ханкиши? На тот свет, что ли, отправила?

— Да чтоб этого Ханкиши несчастная змея ужалила, Зульфи! Он разве жил со мной, сукин сын? Три года мной наслаждался, кейфовал денно и нощно. А потом удрал от меня, как блудливый кот. Ему, видите ли, не нужна была бесплодная жена. После меня этот шакал еще раза два женился, но остался по-прежнему бездетным. И понял наконец, что не мое, а его семя бесплодно. — Зохра арвад ласково погладила доктора Абасалиева по спине. — Ну что мне делать, ты же на мне не женился. Уехал, нашел себе городскую.

И тут обычно известный своим остроумием доктор Абасалиев не нашелся, он вдруг густо покраснел и, чтобы как-то выйти из положения, быстро переменил разговор:

— Так ведь и подруга тебя бросила, прекраснейшая? Что-то эти лимоны уж больно знакомы мне.

— Конечно, это ее лимоны. У кого еще в деревне были такие лимоны, как у Айкануш? — сказала Зохра арвад, разливая чай по стаканам. — Да, *дохтур*, уехала Айкануш. Еще прошлой осенью собралась и уехала в Ереван к своему сыну Жоре. Да она бы по собственной воле вряд ли уехала отсюда. Жора очень настаивал. Если бы ты видел, какая она была, когда уезжала! Все никак не могла расстаться с домом, двором. Как сумасшедшая кружила вокруг своих деревьев. Целовала, обнимала даже сгнившие балки у себя на веранде. И уже перед самым отъездом пришла, стояла здесь и рыдала перед этими лимонами, будто она не лимоны оставляет здесь, а семерых родных детишек. Вот с тех пор я и приглядываю за ее домом. В этом году лимоны хорошо уродились: я собрала целое большое ведро и послала ей. Отсюда круглый год наши везут товар в Ереван, я их попросила, они передали. — Зохра арвад сорвала два лимона, ярко желтевших среди зеленой листвы, и положила на табурет. — Вот и вам по одному. Дома попьете чай. Я на каждом дереве оставила по три-четыре штуки — как раз для таких дорогих гостей, как вы.

Расслабившийся после чая доктор Абасалиев сидел и грустно улыбался, глядя на лимоны. А потом спросил, просто чтобы поддержать разговор:

— А что же Айкануш не приглашает тебя в Ереван?

— Приглашает. Сколько раз через наших айлисцев, торгующих на ереванских базарах, просила: передайте моей сестре, пусть приедет, поживет тут со мной дней десять-пятнадцать. — Зохра арвад засмеялась и подмигнула доктору. — Ну, что скажешь? Может, поехать мне, чтобы на старости лет там, в армянском доме, растерять остатки мусульманства?

— Можно подумать, что и этот твой дом не армянский?

— Ты посмотри на этого старого шалуна! — воскликнула Зохра арвад, обращаясь к Садаю. — Да и откуда взяться уму у *дохтура* для сумасшедших? — Потом полушутя-полусерьезно погрозила доктору пальцем. — Этот дом мой отец Мешдали купил за пятнадцать туманов золотом у дяди Арутюна — Самвела. Как будто ты этого не знаешь!

— Знаю. Я не в том смысле сказал.

Зохра арвад помолчала, что-то обдумывая про себя, потом серьезно и взволнованно прошептала:

— Я не обижусь, если ты даже отца моего помянешь плохим словом. Только ради Бога, Зульфи, нигде больше не упоминай имени этого палача Мамедаги. Его мерзкое отродье хуже него самого. Я имею в виду Джингеза19 Шабана, Зульфи. Говорят, он и тебе сделал гадость. Не связывайся с ними, от этого племени можно ждать всего, что угодно.

— А ты откуда узнала об этом? — с бесконечным удивлением спросил он, заметно нервничая.

— Как будто в этой деревне можно что-то утаить. На днях женщины болтали об этом у родника. Говорят, он откопал где-то старый череп и через забор бросил в твой двор, а в череп подложил записку: “Это я — поп Мкртыч, родной брат армянского шпиона Зульфи Абасалиева”.

Увидев, что доктор расстроился, Зохра арвад замолчала.

Об этой истории с черепом Садай услышал впервые, хотя давно знал, что вряд ли можно найти человека подлее и злобнее Джингеза Шабана — сына мясника Мамедаги, убившего дочку священника Мкртыча. Этот Джингез Шабан, лет на пять-шесть старше Садая, и был тот самый Шабан, который лет с десяти-одиннадцати носил в кармане мясницкий нож, а на плече — охотничье ружье, и именно из этого ружья Шабан застрелил когда-то на заборе Каменной церкви совсем маленького черного и красивого лисенка, неизвестно каким образом оказавшегося той весной в Айлисе. И хотя Садаю было тогда года четыре или пять, он никогда не забывал тот случай и по ночам не раз вскакивал от звука того рокового выстрела. Дожди и снега давно смыли с забора кровь убитого лисенка, однако в сознании Садая алое пятно крови навечно осталось на стене забора.

Теперь, наверное, сам же дебошир Шабан и распустил по Айлису слухи о переброшенном через забор черепе и написанных в той записке словах. Впрочем, доктор Абасалиев и впоследствии никогда не упоминал о мерзкой выходке этого отродья Мамедаги.

Айкануш была одной из двух армянок, которых Садай часто видел и более-менее близко знал в детстве. В Айлисе было еще несколько армянок. Однако они ничем не отличались от азербайджанок, поэтому и не сохранились в детской памяти Садая.

В первое лето, когда учившийся в Баку Садай приехал на каникулы, Айкануш была еще в Айлисе. Она уже сгорбилась от старости и вечной работы на земле, но была еще в состоянии вести свое хозяйство. Собственноручно вспахивала мотыгой землю в маленьком дворике у самой реки, выращивала там для себя фасоль, картошку, огурцы, помидоры, зелень. Сама ухаживала за своими лимонными деревьями, слава о которых ходила по всему Айлису. Она и в Ереван, своему Жоре посылала груши, персики, сушеные фрукты, суджуг — фруктовые колбаски с ореховой начинкой. В священные для армян дни обходила Вангскую церковь, часами молилась, осеняя себя крестом. Утомившись от работы, садилась у своих ворот и беседовала со своей ближайшей соседкой и давней подругой Зохрой арвад.

Дом Айкануш стоял на изрядном удалении от Вангской церкви, в низине на берегу реки, ближе к мусульманской части села. Несмотря на это, церковь стала для старой Айкануш вторым домом. Входя через крепкие, никакой пушкой не пробить, высокие ворота, она

каждый раз при виде самой церкви словно теряла рассудок. Как сумасшедшая начинала совершать круги по церкви. Потом чуть ли не по камешку целовала ее каменные стены, осеняя себя крестом. Наконец старая Айкануш подходила к дверям и останавливалась перед ними. Там она несколько раз крестилась перед каменным изображением женщины с ребенком на руках, которую айлисские мусульмане так и прозвали — “Женщина в чалме с ребенком на руках”. На этом заканчивалось ее паломничество, издали похожее на забавный спектакль.

Еще в детстве Садай несколько раз видел в Айлисе сына Айкануш — Жору, который жил в Ереване. А когда из Еревана в Айлис приехала дочка Жоры Люсик, Садаю было уже лет одиннадцать-двенадцать, и их было трое неразлучных друзей-одноклассников: Сары Садай20 , Бомба Бабаш и Джамбул Джамал. Они всегда были вместе, когда шли собирать колоски с полей после уборки хлеба. Вместе карабкались по горам и скалам в поисках яиц куропаток. А когда не было ни уроков в школе, ни работы на гумне и им надоедало играть на улице в бабки, они брались за церкви. Пытались тяжелыми от влаги речными камешками отбить нос или ухо мраморным статуям во дворе Каменной церкви. Сломать каменные кресты, выбитые на стенах вангской. Забирались на высокую крышу вугарыдской и сверху громко освистывали село. Безжалостно расправлялись с посеянными Мирали киши во дворе Вангской церкви горохом, фасолью, кукурузой, с яркими цветами, посаженными Аных-Анико. Или же найденными на дне реки камешками с острыми краями, которые они вечно таскали в карманах, запечатлевали на стенах церквей свои имена: “Сары Садай! Бомба Бабаш! Джамбул Джамал!”

Светлые волосы достались Садаю в наследство от предков — в их роду все были блондинами. Бабаш получил прозвище Бомба за свой гордый нрав, бесконечную ловкость, железное здоровье и силу. А вот прозвище Джамбул, которое носил Джамал, имело особую и очень печальную историю.

Они принадлежали к довоенному поколению, родились за пару лет до начала войны, отнявшей у них отцов. Однако спустя три-четыре года после окончания войны вдруг пришло известие о том, что отец Джамала — Сюмюк21 Сафи жив. Жена его Дильруба получила от Сафи письмо, в котором он как раз и сообщал о том, что не погиб на войне, жив-здоров и живет теперь в крае, называющемся Казахстан, в городе Джамбул. Писал, что опять женат и новая жена родила ему сына. Сообщал, что больше никогда в Айлис не приедет, а если его сын Джамал захочет, то пусть переезжает к нему в город Джамбул.

После этого злополучного письма, глубокой ночью вопли бабушки Джамала, Азры, подняли на ноги всю деревню: ее дочь Дильруба, вылив на голову банку керосина, хотела сжечь себя.

После того случая мать Джамала так и не смогла оправиться. Она не ела и не пила, не спала ночами, перестала заниматься каким бы то ни было делом, совершенно забросила дом. Окончательно выжившая из ума, она ночами бродила по горам, как дикий зверь: искала мужа, чтобы наказать его, но дорогу в Джамбул не знала. Тело матери Джамала нашли на обочине шоссе, километрах в тридцати-сорока от Айлиса. Так и прилипло к Джамалу это дурацкое прозвище — Джамбул.

Уже живя в Баку, Садай чуть ли не каждый день вспоминал Джамала. И всякий раз при этом вспоминалась ему Вангская церковь, ее двор, высокая стройная черешня и старая Айкануш с неизменной шалью на пояснице: засучив рукава выше локтя, чуть не плача от изумления, она старательно мыла завшивевшую голову Джамала.

В то утро они втроем залезли на высокую черешню во дворе церкви. Давно уже стояла жара, а Джамал все не снимал с головы грязную кепку, из-за которой всю зиму вынужден был сидеть в классе на последней парте. До самых летних каникул их классная руководительница Мулейли муаллима большую часть уроков посвящала обсуждению этой кепки. Будто не знала, что после того, как зимой ослепла бабушка Азра, никто ни разу не помыл голову Джамала, а сам Джамал, подавленный внезапной смертью матери, не мог найти в себе силы хоть раз помыться самому.

Оказывается, лучше остальных это знала старая Айкануш. К тому же старой Айкануш откуда-то было известно, что в то утро Джамбул Джамал окажется именно в церковном дворе. Пока мальчишки сидели на дереве, она прямо под черешней развела костер, согрела воду в большом медном казане, принесла из дома мыло, полотенце, кувшин и какую-то черную, как смола, грязеподобную массу в пол-литровой банке, ею она собиралась позже смазать голову Джамала.

Едва старая Айкануш сняла кепку с головы Джамала, как Бабаша стошнило черешней, которой были набиты их животы. Садай же просто закрыл глаза и отвернулся. Айкануш, как ужаленная, вскрикнула “Вай!” и обеими руками схватилась за голову. Вшей на голове Джамала было не меньше, чем муравьев в муравейнике.

Старая Айкануш усадила Джамала у костра на плоский речной камень. Садай наполнял кувшин теплой водой и лил на голову Джамала, а Айкануш терла мылом эту вшивую голову, до крови расчесывая ее ногтями, потом опять мылила и опять мыла, приговаривая тихим жалобным голосом:

— Родненький. Бедный мальчик. Сиротинушка!

И сейчас, лежа без сознания на койке бакинской больницы, Садай Садыглы так отчетливо, так близко слышал этот голос, что, окажись даже старая Айкануш в этой палате рядом с ним, этот жалобный голос не звучал бы так явственно.

И так же ясно слышал Садай Садыглы крики женщин, прибежавших из своих домов в церковный двор, когда старая Айкануш, уже вымыв и смазав лекарством голову Джамала, перевязывала ее марлей.

— Себя мусульманками называем, а вот не хватило ума мальчику голову помыть.

— Вот она и вымыла, ну и что же, что не мусульманка. Айкануш ведь не с неба свалилась! Она тоже из нашей деревни.

— Да пребудет с тобой Бог в трудную минуту, Айкануш баджи22 ! Ты всегда отличалась добротой своей к нам — мусульманам.

— Кто б отказался вымыть голову сироте? Откуда нам было знать, что бедный мальчик завшивел?

— А ты что, не видела, что он никогда не снимает кепку с головы? Если б не вши, стал бы он в такую жару в кепке разгуливать?

— Да хранит Аллах твоего единственного сына в Ереване, Айкануш. Ты самая милосердная из наших айлисских женщин.

— Ты, Айкануш, Аллаха любишь, ну и что же, что армянка…

Айкануш же, как следует вымыв руки с мылом и потирая обмотанную шалью поясницу, едва смогла кое-как выпрямиться. Женщины постепенно разошлись. И как только смолкли их голоса, Айкануш распростерла руки и с такой страстью двинулась в сторону церкви, что, казалось, сейчас эта маленькая щуплая женщина, как ребеночка, прижмет к груди всю эту каменную громадину.

Когда старая Айкануш осеняла себя крестом перед “Женщиной в чалме”, Джамал, с белой марлей на голове, молча сидел у стены перед входом в церковь. А Люсик, которая до сих пор, сжавшись в углу ворот, со страхом и ужасом наблюдала, как ее бабушка моет Джамалу голову, теперь стояла, прислоняясь к стволу черешни, и, кажется, тихо плакала. И у Джамала тоже блестели в глазах слезы. Он с удивлением взирал на мир, который словно видел в первый раз. Бабаш стоял рядом, низко опустив голову, ему было стыдно, что давеча он не смог сдержаться и его так позорно рвало.

А Айкануш, как обычно, стояла у входа в церковь и неистово молилась. И какое же чудо случилось в тот день на земле, что Садай, до тех пор ничего не понимавший на армянском, стал вдруг понимать каждое слово из тех, что очень тихо, чуть не про себя шептала Айкануш? Быть может, это снилось ему? Или на Садая снизошел тот мистический духовно-небесный дар великого Создателя, который хотя бы раз в жизни являет чудо каждому из своих созданий, коих он нарек людьми? И интересно, действительно ли та каменная “женщина в чалме”, всегда взиравшая на мир мертвыми каменными глазами, забыла, что высечена из камня, и вдруг ласково улыбнулась Садаю?..

И ребенок, которого она держала на руках, вдруг ожил, завертел шеей, задвигал ручками, ножками. Садай своими глазами видел, как младенец, раскрыв глаза, кому-то весело подмигнул. И — что это, о Создатель, — отчего глаза младенца были в то же время глазами Джамала? Предположим, все это было галлюцинацией — сном или видением, но откуда тогда звучал тот голос — голос живущей рядом с церковью Хромой Чимназ, уродливой средней дочки Джинни Сакины: “Смотрите, люди! Сары Садай крестится, как армянин!”

И тот мерзкий “образчик фольклора”, который затем громко пропела дурочка Чимназ своим мерзким голосом:

Армянин, эй, армянин
В горах молотит зерно.
Есть у него сын и дочь,
В зад ему буйволиный рог23.

И еще тот неземной свет!

Как же случилось, что в день, когда Садай понял вдруг молитву старой Айкануш и впервые в жизни неосознанно перекрестился, желтовато-розовый свет глаз Всевышнего, который обычно нежно сиял лишь на куполе церкви и на вершине горы, вдруг разлился повсюду? Никогда более не видел Садай Садыглы, чтобы мир был озарен столь невообразимо ярким светом, но никогда не переставал верить, что в Айлисе существует какой-то другой свет, принадлежащий только Айлису. По глубокому убеждению Садая, его просто не могло не быть: ведь и в длину, и в ширину Верхний Айлис составлял, наверное, не более шести-семи километров. И если бы люди, воздвигшие когда-то на этом крохотном клочке земли двенадцать церквей и создавшие райский уголок возле каждой из них, не оставили после себя хоть немножко своего света, то зачем тогда нужен человеку Бог?

Да и видел ли кто-нибудь, кроме Садая, как в тот день разлилось по всему Айлису это желтовато-розовое сияние? И почему не решился он кого-нибудь спросить об этом в тот же день, там, в церковном дворе?.. Сейчас, в Баку, об этом можно было спросить только у Бабаша. Но как? У какого Бабаша?.. Спрашивать у нынешнего Бабаша Зиядова о том дне и о том сиянии было бы так же смешно, как спрашивать у начальника ЖЭКа адрес Господа Бога.

Тем летом Бомба Бабаш, уподобившись Меджнуну, все крутился вокруг приехавшей из Еревана внучки Айкануш — Люсик, выкидывая всякие жалкие фокусы. Он то взбирался

на верхушки самых высоких деревьев, кукарекая по-петушиному и каркая по-вороньи, то, прячась в кустах, издавал оттуда крики куропаток. Он блеял по-бараньи, выл по-волчьи... Бывало, по несколько раз в день на руках, болтая в воздухе ногами, обходил вокруг церкви. “Ес кес сурумем! Ес кес сурумем!” — кричал он то из-за забора, то с крыши церкви, полагая, что объясняется Люсик в любви на армянском.

Однако худенькая и смуглая, как и ее бабка, Люсик терпеливо выдерживала все эти фокусы: она не обращала на Бабаша никакого внимания, вообще не замечала его. Не видя ничего и никого вокруг, Люсик целыми днями возилась во дворе церкви со своими кистями да красками.

Естественно, старая Айкануш, которая была в ответе за каждый день, проведенный в деревне ее двенадцатилетней внучкой, раз в день обязательно заглядывала в церковь, приносила ей чай в термосе, горячий обед в кастрюле. Но Люсик никогда не говорила ей о выходках Бабаша. Со временем Айкануш сама каким-то образом узнала о его проделках и пошла в дом Зиядовых, пожаловалась дедушке Бабаша на шалости внука. После этого Бабаш вроде бы отстал от Люсик. Однако оказалось, что главный скандал был еще впереди.

Произошло это во время тех же летних каникул. Однажды по деревне прошел слух, что кто-то ночью залез во двор Айкануш и сорвал по одному лимону с каждого ее деревца. Конечно, это не было серьезной кражей, просто кто-то хотел задеть хозяйку. Айкануш, которая больше всех подозревала Бабаша, все же никому жаловаться не стала. А дня через два кто-то ночью снова забрался во двор Айкануш и в этот раз стащил висевшие на веревке трусики Люсик. Утро следующего дня стало последним в их многолетней неразрывной дружбе, а может быть, и концом всего их светлого солнечного детства.

В то утро на небольшой площади перед мечетью, где обычно играли айлисские ребята, Садай и сам не понял как врезал Бабашу, считавшемуся самым сильным среди мальчишек, и крайне удивился, что от его удара Бабаш повалился на землю. Потом выхватил из рук Бабаша трусики, которыми тот размахивал, демонстрируя ребятам, и заорал во весь голос:

— Это трусики не Люсик, это трусики сестры Бабаша — Расимы! Эй, кто хочет, трусики Расимы? Продаю, подходи, покупай!

После этого случая они, хоть и сидели в одном классе, но год-полтора не разговаривали друг с другом, даже не здоровались. Потом вроде бы помирились. Однако холодок между ними остался навсегда. Даже приехав учиться в Баку, они ни разу не делали попыток найти друг друга. Потом Садай узнал от кого-то, что Бабаш, еще будучи студентом, устроился работать в ЦК комсомола и успешно делает карьеру. И каждый раз, слыша о его назначении на очередную ответственную должность, Садай невольно вспомнил

церковь, Люсик, лимоны Айкануш, площадь перед мечетью и Бабаша, размахивающего трусиками Люсик.
На следующий же день на ордубадском вокзале Айкануш посадила внучку на поезд и отправила в Ереван. После этого Люсик ни разу в Айлис не приезжала.

Второй заметной и яркой армянкой в Айлисе была Анико, которую все звали Аных. Это была отважная женщина: гордая и волевая. Она все умела, все знала, могла дать полезные советы по пчеловодству бортникам, по разведению шелковичных червей — шелководам, не имея медицинского образования, лечила в деревне болящих и хворых, и один Аллах знает, откуда в этой женщине было столько страсти и силы! Анико была свидетельницей того, как в черный осенний день 1919 года турецкие солдаты, истребив пулями, искрошив саблями, утопили в кровавом озере всех от мала до велика, и среди тех жертв были и ее родители, братья, сестры. Весь Айлис знал, что десятилетняя Анико спряталась тогда в тендире и выжила лишь случайно: три-четыре дня просидела там без еды и питья, пока ее не обнаружила мать Мирзы Вагаба — Зохра арвад. Мирзе Вагабу, получившему образование в Стамбуле и считавшемуся самым грамотным мусульманином в Айлисе, по словам доктора Абасалиева, тогда было около тридцати лет. Он спрятал Анико в своем доме, вырастил ее и, конечно насильно, сделал своей женой. Но чем же тогда, если не величайшим на свете чудом, следует считать ту заботу и нежность, которую выказывала Анико своему мужу, бывшему старше нее на двадцать лет! Она всегда говорила о нем с гордостью, хвастала его ученостью, знаниями и благородством. Анико родила Мирзе Вагабу двух сыновей и дочь, имя мужа не сходило с ее уст.
Везде и всюду громко говорила она о том, что приняла мусульманскую веру. И так же страстно, никого не страшась, — о том, что обязательно настанет время, когда в Айлис вернутся армяне и он опять превратится в райское место.
Называющая себя мусульманкой Анико не забывала в дни траура по имамам вместе с другими женщинами в чадрах посидеть в чьем-нибудь доме и горько оплакать жестоко убиенных внуков пророка Мухаммеда, тем не менее чуть ли не ежедневно с утра пораньше ходила она в Вангскую церковь. Там она подметала церковный двор, ухаживала за красивыми яркими цветами, которые сама же и посадила, и не упускала случая бесстрашно обрушить потоки брани на голову всех предков Мирали киши, который, превратив церковь в свой склад, повесил на ее дверях замок.
И сам дом Анико со всех сторон напоминал праздничную выставку никогда не вянущих цветов, каких ни у кого в Айлисе не водилось. В этом доме Мирза Вагаб обосновался после армянской резни 1919 года. Поговаривали даже, что этот, один из самых красивых в

Айлисе, домов получившему образование в Стамбуле Мирзе Вагабу лично подарил предводитель турок Адиф-бей. Как же не поверить после этого, что только чудо правило всеми деяниями Анико, если именно в этом дворе, превращенном ею в настоящий цветник, произошло то самое кровавое побоище, учиненное Адиф-беем? Анико конечно же не могла не знать этого. Быть может, разводя свои цветы, она преследовала определенную цель — хотела увековечить память каждого из убиенных соплеменников? Доказать, что после каждого убитого армянина остался на земле цветок? И хотела, чтобы это понял каждый мусульманин Айлиса? Возможно, кровь, пролитая некогда в том дворе, до сих пор бурлила в памяти Анико, и единственным средством унять кровоточащую память стало для нее украсить цветами свой двор и все аллеи Вангской церкви.

В памяти Садая Анико оставалась не только как прекрасный человек и женщина, но и как какой-то особый — веселый и звонкий — голос. Голос, вобравший в себя весь Айлис — с его домами, церквями, горами, дорогами, деревьями, ручьями и родниками, — звонкий вестник наступающего утра. Потому что просыпалась Анико всегда на рассвете и громко распевала на своей высокой веранде, словно хотела возвестить всем айлисским мусульманам, что в Айлисе еще живет и звучит армянский голос.

В отличие от Айкануш она и в вангскую церковь всегда шла шумно, шагала по старой горной фаэтонной дороге и громко разговаривала. Во всеуслышание вспоминала бросившуюся со скалы Эсхи, проклинала Адиф-бея, издали начинала ругать Мирали киши, превратившего самую красивую айлисскую церковь в свою жалкую кладовую. Голос Анико, никогда не забывавшей упомянуть, что она приняла мусульманство и стала женой столь благородного и ученого человека как Мирза Вагаб, казалось, не имел ничего общего с голосом армянской девочки-сироты, чудом спасшейся от турецкого штыка. Это, вне всякого сомнения, был доносящийся из глубины веков голос истинной хозяйки Айлиса. Одним словом, это был утренний голос Айлиса!..

Живя в Баку, Садай Садыглы часто слышал его в своих айлисских снах, и сколько бакинских утр для артиста начиналось именно с этого голоса.

В ту самую пору, когда на похабно-продажной, как у старой шлюхи, роже старого мира только начинали проявляться признаки подло-неизбежного столкновения мусульман с армянами, Садаю Садыглы приснилась странная церковь. Странным было то, что она не походила ни на одну из айлисских церквей. И в то же время в ее устрашающем, мистическом облике было что-то от каждой из них.

В том сне нельзя было определить время года. В Айлисе было раннее утро, рассвет только занимался, село с трудом вырывалось из ночного мрака. В горах, на теневой стороне, еще

островками лежал снег. Над ними барашками стояли редкие белые облака. И еще — космический, мистический свет: и чужой, и в высшей степени родной, знакомый!..

Высокие белые стены церкви, привидевшейся Садаю во сне, с внутренней стороны потрескались, сквозь образовавшиеся щели и просачивался в церковь этот свет, и непрерывно лился наводящий ужас звук, похожий на жужжание пчелиного роя, словно откуда-то из совершенно иного мира вливался он прямо в церковь, а оттуда — сквозь потрескавшиеся стены — с дьявольской страстью спешил разнести по миру какую-то принесенную им страшную весть.

И с тех пор тот неземной странный шум беспрерывно преследовал Садая. Из радиоприемника, с экрана телевизора, из революционных, религиозных и разных патриотических листовок, расклеенных тут и там на стенах подъездов и уличных столбах, с заголовков статей, чернеющих крупными буквами на первых страницах газет и журналов, — отовсюду слышался артисту тот светозвук, сеющий по миру небывалый ужас. Для него было непостижимо, почему в пору, когда, казалось бы, никто ничего не боится, он должен жить с постоянным ощущением страха. Почему в каждом слове, прочитанном в газетах, услышанном по радио, телевизору, из уст ораторов на площадях, женщин на улицах, ему слышалось предвестье трагедии. Почему мрачно становилось у него на сердце при виде беременных женщин или юных пар, гуляющих в парках, на бульваре: неужели одному ему выпал на долю страх за будущее всех людей? Что так напугало его в свое время, что теперь он приходил в ужас при одной лишь мысли о том, что этот рев улиц и площадей рано или поздно приведет к власти нового Хозяина? Почему именно ему, Садаю Садыглы, суждено уже сейчас испытывать боль и страдания от неминуемого кровопролития?

Не находя ответов на мучающие его вопросы, Садай Садыглы каждую ночь видел во сне Айлис. Потому что Айлис и был незаживающей раной его сердца. И без того склонный время от времени впадать в депрессивно-меланхолическое состояние, Садай стал с каждый днем все больше сторониться мира и людей. Часто бредил во сне, стонал. В своих бессвязных монологах упоминал имена Айкануш, Анико, Джамала, Люсик, Бабаша и многих других людей, знакомых и неизвестных Азаде ханум. Когда же Азада ханум увидела, что как-то среди ночи Садай, проснувшись, перекрестился, она долго не могла прийти в себя.

В одну из таких кошмарных ночей в бессвязных монологах ее мужа возник давно забытый всеми айлисский лисенок. Муж стонал во сне так, что часто скрывающая от отца недуги Садая Азада ханум не смогла на следующий день не поделиться с доктором Абасалиевым своей тревогой.

— Может, ты поговоришь с ним, папа? Выяснишь, что мучает его?

Доктор Абасалиев, прекрасно понимавший, что подобные психические состояния — проблема отнюдь не медицинская, постарался успокоить дочку:

— Это криптомнезия, — сказал он. — Наблюдается у всех эмоциональных людей: с возрастом они “впадают в детство”. Не тревожься. Так или иначе каждый проживает свою жизнь.

Но беда как раз была в том, что Садай Садыглы не жил сейчас своей жизнью. Это было странно: Садай Садыглы, в роду которого ни у кого не было ни капли армянской крови (один его дед совершил паломничество в Кербелу, другой — в Мекку), с некоторых пор будто носил внутри себя некоего безымянного армянина. Точнее, не носил, а скрывал. И вместе с каждым избиваемым, оскорбляемым, убитым в этом огромном городе армянином как будто сам бывал избит, оскорблен, убит. С самого начала осени он, похоже, ни разу не улыбнулся, ходил подавленный и мрачный. Напрочь забыл театр, куда раньше заходил хотя бы раза два в неделю. Даже митинги, которые он одно время охотно посещал, теперь утратили для него всякий интерес. Он не находил себе места в городе, не знал покоя дома.

В один из ветреных дождливых вечеров он пришел домой в таком состоянии, что Азада ханум чуть не вскрикнула от ужаса: словно кто-то окунул его в лужу — вся одежда была мокрой, по волосам, подбородку, из карманов плаща обильно стекала вода. Брюки были измазаны грязью, пуговицы пиджака и воротничок сорочки оторваны.

Азада ханум, плача, раздела мужа, усадила в ванну с теплой водой. Дала выпить рюмку коньяка, принесла чай. И лишь когда Садай пришел в себя, приступила к расспросам:

— Где ты подрался?

— Я не дрался.

— Кто же тогда тебя так отделал?

Садай ничего не ответил. А после долгого молчания так горько разрыдался, что Азада ханум пожалела о своем вопросе.

— Азя, на вокзале сожгли молодую женщину! Ее облили бензином и живую подожгли!

— Кто сжег? — спросила Азада ханум, утирая слезы.

— Женщины, Азя. Толпа уличных торговок. Будто это не люди были, а орава настоящих джиннов.

— Это женщины сделали с тобой такое?

Артист удивился, потому что действительно не сознавал, в каком виде пришел домой.

— Не знаю. Я ничего не смог понять. Когда эти дьяволицы сожгли ту армянку и тут же испарились, я увидел, что стою на вокзале один.

А потом он стал рассказывать такое, что Азаде ханум стало не по себе.

— Вчера я видел во сне, будто какому-то армянину дали денег, чтобы он убил меня.

— Кто? Кто собирается убить тебя?! — не своим голосом закричала Азада ханум, уже не владея собой.

— Тому армянину деньги дали наши: те, кто сейчас во власти.

— Очнись! Давно уже нет здесь никакой власти. А если и есть, то она как раз и сеет всюду семена вражды. По-твоему это народ устроил в Сумгаите тот адский кошмар? Нет, родной мой, нет! Это было устроено КГБ или, возможно, остатками власти, разделившимися теперь на разные мафиозные группировки. Я никогда не поверю, Садай, что без реально существующего организатора азербайджанцы могли пойти на такую безумную дикость.

— Как ты можешь говорить такое? Ты же была в Айлисе, — сказал артист, пронзительно печально взглянув на жену, и тут же по-детски печально опустил голову.

— Да, я была в Айлисе и знаю, что турки зверски жестоко обошлись там с невинными людьми. А ты был в тех местах, откуда армяне выгнали тысячи несчастных азербайджанцев. Хоть раз ты подумал, каково этим несчастным, оставшимся теперь без крова и без малейшей надежды на будущее? Разве о них думают заварившие эту кровавую кашу их собственные подстрекатели, которых проклинают теперь сами несчастные армяне — и карабахские, и здешние, бакинские, и которым наплевать на нас только потому, что, по их мнению, мы тоже турки. Если турки вас резали, идите, разбирайтесь с ними, при чем здесь мы? Чем эти армянские крикуны лучше наших доморощенных? Почему ты об этом не думаешь, родной мой? Ты, как началось все это, стал сам не свой. Знаешь, как ты исхудал, милый? Если себя не жалеешь, пожалей хотя бы меня. Пойми, Садай, так нельзя. Ты в этом мире ничего не изменишь, только окончательно погубишь себя. Говоришь, ходил на вокзал? Да что ты там делал, милый?

— Я хотел… Я хотел… Я хочу умереть, Азя, — с трудом вымолвил он.

Азада ханум, поняв, что муж на грани помешательства, замолчала.

Садай Садыглы, окончательно замкнувшийся в себе, теперь был полностью отрешен и от жены, и вообще от всего земного. Азада ханум поняла, почему муж ходил на вокзал. Садай целыми днями торчал там лишь для того, чтобы встречать и провожать знакомый ему с детства поезд “Баку—Ереван”. В этом поезде, проходящем через его родной Ордубад, он каждый день мысленно путешествовал, лелея новую бредовую мечту об Эчмиадзине, где он собирался принять христианскую веру.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МОЛОДОЙ АВТОР ПЬЕСЫ, В КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ СЫГРАЕТ САДАЙ САДЫГЛЫ, ОБВИНЯЕТ БЫВШЕГО ХОЗЯИНА СТРАНЫ В МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМ ГЕНОЦИДЕ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА

Быть может, Садаю Садыглы опять снился один из тех прекрасных летних дней, проведенных в Айлисе с доктором Абасалиевым. А может, в ушах артиста до сих пор стоял голос тестя, звучавший вчера по телефону из Мардакян. Во всяком случае, этим утром, как только Садай проснулся, ему показалось, что весь мир заполнен звонким и бодрым голосом профессора Абасалиева. И продолжая слышать этот бодрый и звонкий голос, Садай чувствовал себя как никогда бодрым и спокойным: казалось, в мире, где еще слышен голос доктора Абасалиева, ему легче переносить свою боль.

Была предпоследняя суббота 1989 года. Прошел примерно час, как Азада ханум ушла на работу, и едва она вышла из дома, как начал звонить телефон. Он звонил уже больше часа с пяти—десятиминутными перерывами, но Садай трубку не брал.

В паузах между звонками в ушах артиста звучал приторно-сладкий голос, а перед глазами стоял хорошо знакомый облик Мопассана Мираламова, директора театра, из уст которого неслись строки известного народного поэта:

“Приветствуем великого мастера,

Вечности равен он!”24

Уже больше недели директор ежедневно звонил Садаю Садыглы и вместо приветствия каждый раз повторял эти вызывавшие у него почти физическую тошноту пошлые до омерзительности стихи.

В конце концов Садай вынужден был снять трубку.

На этот раз звонил не Мопассан Мираламов, а Нувариш Карабахлы.

— Брат, что ты к телефону не подходишь? — спросил он своим тихим хриплым голосом. — Я тебе уже раз пятьдесят звонил. Весь извелся — все думаю, не случилось ли чего. Тут земляк твой приехал, односельчанин… Твой друг детства — Джамал!

— Куда приехал? — Садай спросил это с таким изумлением, что сам испугался своего голоса.

— Он здесь, в театре. Приходи скорей, он ждет тебя. — Нувариш Карабахлы сделал короткую паузу и добавил: — Он в кабинете Мопассан муаллима.

Если уж Нувариш Карабахлы говорит “Мопассан муаллим”, значит, он действительно звонит из кабинета директора. В противном случае он назвал бы его как-нибудь иначе: за глаза директора все называли “дядя Мопош”.

— Сейчас приду, — ответил Садай Садыглы. Однако сил двинуться с места у него не хватило.

С тех пор как Джамал после седьмого класса подался в пастухи, Садай ни разу не видел его. Но всегда помнил. Более того, в последнее время его преследовала навязчивая идея поехать в деревню, во что бы то ни стало там, в горах, разыскать Джамала и наконец-то спросить у него: в тот день, после того как Айкануш во дворе церкви вымыла ему голову, действительно ли весь мир озарился каким-то бархатно-мягким желтовато-розовым светом или так показалось одному Садаю? Но сейчас, когда появилась реальная возможность повидаться с Джамалом, это превратилось в тяжелейшую обузу.

Когда он наконец вышел из дома и уже садился в такси, вдруг пришла в голову мысль, что приезд Джамала, может быть, и не правда, а хитрая уловка шустрого Мопассана Мираламова. Ведь директор давно хотел любыми путями заманить его в театр и непременно заставить прочесть пьесу, которую он уже много дней расхваливал ему по телефону. Возможно, Мопош и не сочинял вовсе, что главная роль там написана специально для него, Садая. И вполне возможно, что вечный оптимист, деловой, сообразительный Мопассан, надеялся, будто исполнение главной роли Садаем Садыглы сможет поднять на ноги умирающий театр. Таков уж был его характер: если брался за что-то, обязательно должен был довести дело до конца. А узнать, что у Садая когда-то был друг детства Джамал, особых сложностей для Мопоша не представляло — об этом когда-то директор мог услышать от самого Садая и запо-мнить. Во всяком случае, истина была такова: едущий сейчас в такси артист особой охоты видеться с Джамалом не имел.

Однако оказалось, что Джамал действительно приехал.

Он с серьезным видом расположился в теплом и уютном кабинете Мопассана Мираламова, одетый в новенький дешевый костюм, на голове — дорогая бухарская папаха. Загоревшее в горах до медного оттенка лицо его и большие карие глаза сияли от волнения и возбуждения, вызванных непривычной обстановкой.

Нувариша Карабахлы Садай в кабинете не заметил. Наверное, на репетиции, решил он, или на съемках где-то на телевидении. (Садай не был в курсе того, что Нувариш давно уже напрасно просиживает в разных приемных важных людей, будучи занят поисками пистолета.)

Увидев Садая, Мопассан Мираламов с неожиданным для своего возраста проворством вскочил с кресла, бросился к артисту, прямо у дверей обнял его и крепко прижал к груди.

Он смог даже выжать из глаз слезу в стремлении продемонстрировать, как он счастлив видеть его.

Джамал, по-детски наивно вытянув губы трубочкой, явно готовился горячо поцеловаться со своим одноклассником. Садай прижал к груди голову друга вместе с его шикарной папахой. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. И этих коротких секунд хватило Джамалу, чтобы собраться с мыслями, решить, с чего начать разговор, и даже сначала маленько растрогаться, а потом и расплакаться — громко, со всхлипами.

— Я здорово влип, брат! — проговорил он. — Приехал просить твоей помощи. Моего сына арестовали и посадили в тюрьму. В районе не осталось кабинета, куда бы я не стучался. Никто меня и слушать не хочет. Вот, приехал сюда, может, здесь смогу найти помощь.

— А за что арестовали твоего сына? — раздраженно спросил артист, которому явно не понравилось, как Джамал по-бабьи плачет.

Джамал не ответил. Достав из кармана платок, он тщательно утер лицо от слез и пота, выступившего на лбу. Потом, окончательно придя в себя, стал рассказывать уже тихим и спокойным голосом.

— Это мне Божье наказание за мою глупость, Сары. Каким надо быть дураком, чтобы взять себе в невестки внучку этого мясника Мамедаги, смешать свою кровь с кровью этой собачьей породы. Вот и мучаюсь теперь. Она меня просто за человека не считает, а на свекровь свою бросается, как бешеная собака. Только и знает, что ворчать, ругаться и проклинать. Опозорила нас на всю деревню. А тут схватила острый секач и ударила по собственной голове: вот какая стерва! А потом, по наущению отца своего, Джингеза Шабана бросилась в город, в больницу: мол, смотрите люди, муж меня убить хотел!.. Оклеветала парня и посадила. А я уже двадцать дней обиваю чужие пороги. У кого только в районе я не был, никто и слушать не хочет. Всякую надежду потерял. Вся надежда на тебя, Садай. Ты можешь помочь мне. Ты как-никак человек известный. — Джамал замолчал, устремив на Садая полный кротости взгляд.

Садаю стало жаль Джамала. Он ощутил одновременно огромное сострадание и к себе, и к Айлису, даже к этой сумасшедшей скандальной дочери Джингеза Шабана. Серый в эту пору Айлис, серые горы… Мерзнущие, едва дышащие от холода в ожидании прихода весны камни, улицы, дома. Каменная церковь. Тот самый вытекающий из-под ее каменных стен самый мощный в Айлисе кяризовый родник и его растекающаяся сейчас по ледяным арыкам чуть почерневшая, смешанная с каким-то безымянным страхом вода, тот самый чудный черный лисенок — маленькое Божье создание. И еще — то алое кровавое пятно, навеки застывшее на каменном заборе у родника — там, где Джингез

Шабан подстрелил его. Вглядываясь в серый и жалкий лик Айлиса, артист вдруг всем сердцем устыдился, что когда-то хотел спросить у Джамала о том желтовато-розовом свете.

— Посмотрим. Что-нибудь придумаем, — неуверенно, безо всякой надежды ответил Садай Садыглы и чуть громче добавил: — Ну давай рассказывай, что нового в Айлисе?

— Да что может быть нового в Айлисе? Все тот же, каким ты его видел, — с крайней неохотой отозвался Джамал.

— А ты знаешь, сколько лет я не был в Айлисе?

— Да хоть сто. Не будь ты там сто лет, в Айлисе ничего не изменится, — ответил Джамал и жалко улыбнулся почему-то только Мопассану. Потом, решив, видимо, что должен хоть что-нибудь рассказать Садаю про Айлис, нехотя заговорил: — В этом году перед самой весной скончался Мирали киши, наверное, ты слышал об этом. На днях и Аных отдала свою поганую душу Азраилу25. И сколько злобы в старухе: даже на пороге смерти так и осталась армянкой. Когда пошли наши женщины попрощаться с ней, она им всем заявила: мол, я и не думала менять свою веру и никогда от своего Бога не отрекалась. То есть я до сих пор вас, если выражаться культурным языком, вообще-то водила за нос… До чего же подлые эти армяне! — Джамал забавно сморщил лицо и опять кротко и осторожно посмотрел на Мопассана Мираламова. Потом перевел взгляд на Садая и в какой-то странной растерянности опустил голову.

— Что, теперь и в Айлисе вошло в моду нести бредни про армян? — еле слышным сдавленным голосом спросил Садай и попытался представить себе на смертном ложе последнюю армянку Айлиса Анико, окруженную в смертный час айлисскими мусульманками.

Но сцену ее смерти он представить себе не мог. А представился ему лучший в Айлисе, большой двухэтажный дом. Уставленная всевозможными цветами высокая веранда. Ведущие к ней прочные каменные ступеньки, ласкающие взгляд своей безупречной чистотой и аккуратностью. Мир в глазах Садая сделался намного светлее от пестрых цветов Анико, выращенных ею во дворе Вангской церкви и ею же круглый год обихаживаемых. Глядя на дорогую папаху Джамала, артист вспомнил его грязную, завшивевшую кепку, которую некогда сняла со страхом с его головы Айкануш:

— Если б у тебя был Бог, ты бы тоже ему изменять не стал! — громко и безжалостно сказал артист. И тут же (то ли сожалея о сказанном, то ли по какой-то иной причине) почувствовал в душе страшную пустоту — какую-то не имеющую конца и края беспросветную развалину — без жизни и без воздуха. В краткое мгновение молчания, возникшее после его слов, он успел увидеть в глазах Мопассана Мираламова

подозрительно-укоризненную холодную улыбку, чисто выбритое сытое лицо директора вдруг посерело. Однако — подумать только! — гневные слова Садая Джамала нисколько не обидели.

— Это ты верно сказал, — ответил он. — Армяне со своим Богом всегда в ладу.

Слова показались Садаю до боли знакомыми. Артист воспринял их не только как слова, но и как некий позабытый звук, как ласковый добрый свет, когда-то существовавший в этом мире и потом бесследно исчезнувший. Каким-то чудесным образом Садай Садыглы нашел в этих словах покой и утешение для себя. Он готов был распотрошить всю свою память, чтобы вспомнить, от кого, когда и где впервые услышал эти слова. Ему захотелось обнять, прижать к груди весь Айлис как один общий дом, потрясти его, как небольшое деревце, набрать в горсть и выпить, как глоток воды, чтобы вспомнить — кому в Айлисе могла принадлежать изначально только что произнесенная Джамалом простейшая и в то же время до невероятности содержательная фраза.

Непостижимы тайны твои, Господи — разве эти слова не могли быть произнесены когда-то Его Истинным Величеством, самим непостижимым Айлисом: “Армяне со своим Богом всегда в ладу”.

Искренне обрадованный, Садай обнял Джамала за шею.

— Эх, Джамбул ты и есть — Джамбул! Вот каким ты оказался честным. Не обиделся. Я же обидел тебя.

— Честному человеку незачем обижаться на честные слова! — солидно выделяя каждое слово, проговорил Джамал. — Говорят же: лучше быть слугой у честного слова, чем господином лжи.

— Ты в первый раз в Баку?

— Нет, приезжал пару раз. А одна из моих дочерей здесь замужем.

— Кому же, уезжая, ты оставляешь горы? — шутя, спросил Садай.

— Да кто же замахнется на хозяина гор? — разумеется, имея в виду Бога, серьезно ответил Джамал.

— Ты уже не пасешь овец?

— Пасу, отчего же не пасти? У меня в Айлисе куча внуков. Они и без меня справляются с хозяйством.

Садай встал и начал прохаживаться по кабинету.

— Так что же нам делать?

— Ты насчет чего?

— Да насчет тюрьмы, как быть с ней?

Мопассан Мираламов, словно дожидавшийся именно этого момента, встал с места.

— Что же тут сложного? Ты напишешь на имя районного прокурора хорошее письмецо, а наш брат отдаст ему. Прокурор тебе не откажет. Освободят парня, и все дела. — Директор тайком подмигнул Садаю Садыглы и протянул ему заготовленные заранее бумагу и ручку.

— Какое право имеет прокурор не прислушаться к словам известного народного артиста? (В неофициальной обстановке он всегда называл Садая Садыглы “народным”.) К тому же никто ведь никого не убил. Ну случилось, подрались, поссорились. Так помирятся, и все. — Директор втихомолку опять хитро подмигнул Садаю, и только теперь артист понял, что Мопош просто хочет поскорее отделаться от Джамала.

— Нет, так не годится. Что прокурору от моего письма, если у него есть возможность отхапать у кого-то деньги? — Артист решительно смял протянутую ему бумагу, давая директору понять, что не согласен с его мошенническим фокусом. И взглянув на грустное озабоченное лицо Джамала, вновь увидел в глубинах своего сердца темный, бессолнечный, безрадостный, мертвый, тоскливый Айлис. Айлис, утративший величие своих гор и церквей своих, таких же величественных… Серые безлюдные улицы. Мертвецки оголившиеся после осени дворы. Оставшиеся без единого листочка бездыханные деревья, опустошенные горы — без чабанов и без овец. Лишь серые вороны летали в сером мертвом небе над серым мусульманским кладбищем. Ощутив жуткую безысходность, Садай после долгих раздумий сказал:

— Может, отыщем Бабаша?!

Джамал обрадовался и моментально ожил.

— Да! — воскликнул он взволнованно. — Давай найдем его! Он мне обязательно поможет. У него большая должность, почет, уважение — все есть у Бабаша. — Он вскочил из-за стола. — Ты только проводи меня к нему. А остальное уже мое дело.

Садай Садыглы был достаточно наслышан о больших карьерных успехах Бабаша. После недолгой работы в ЦК комсомола он сразу же занял должность председателя райисполкома одного из крупных районов Баку. Был первым секретарем райкома, довольно долгое время занимал даже министерское кресло. В последнее время Бабаш был заведующим отделом Центрального Комитета, а всего месяца два назад была создана новая организация — “Общество преданных народу”, председателем которой стал Бабаш Зиядов.

Садай, многие годы избегавший общения с Бабашем, сейчас ради Джамала был готов на все. Однако он точно не знал, где находится организация, которой руководит Бабаш. Несмотря на это, он без колебаний решил отправиться на поиски. Обеспокоенный этой решимостью директор засуетился, выбежал из-за стола, не давая им уйти из кабинета.

— Куда вы?! — воскликнул Мопош, загораживая выход. — Вы имеете в виду своего земляка Бабаша Зиядова? Так потерпите немного. Давайте позвоним, спросим. Может, его и нет на месте.

На столе директора стояло три телефонных аппарата, внешне ничем друг от друга не отличавшихся: внутренний, городской и трехзначный — правительственный. То, что Мопош снял трубку именно этого аппарата, отразилось на его лице, внезапно ставшем отстраненно серьезным. Явно демонстрируя собственную значимость, он набрал три цифры. Однако, услышав голос Бабаша Зиядова, скрыть своей растерянности не смог.

— Здравствуйте, Бабаш Билалович! Это Мираламов... Да, из театра... Дай и вам Бог… Бесконечно благодарен… Будет. У нас есть прекрасная пьеса… Сам?.. Конечно, знает. Да, да, он в курсе… Лично ознакомился с пьесой… Понравилась. Очень понравилась… Да, тема очень актуальна… Его образ?.. Есть, есть. Да вся пьеса о бесчинствах, которые он, бессовестный, тринадцать лет творил здесь… В главной роли?.. Да, да, он и есть. Ваш односельчанин, наша гордость. Собственно, автор писал эту роль специально в расчете на Садай муаллима. И Сам сказал, что хотел бы видеть в этой роли Садая Садыглы. Да, да, Сам.

Садай Садыглы знал, что с приходом во власть нового Первого повсюду развернулась кампания по разоблачению бывшего, теперь уже опального. По тому, как директор вдруг вскочил с места и стал благодарить Бабаша, артист понял, что Бабаш Зиядов что-то пообещал театру. Несомненно, Бабаш догадывался, что Садай сейчас в кабинете директора. Однако верный чиновничьей этике Мопассан ждал, пока Зиядов сам выразит желание поговорить с артистом. И наконец эта долгожданная минута настала:

— Да, он здесь, рядом со мной, хочет поклониться вам. — И Мопош, чуть ли не танцуя от радости, передал трубку Садаю.

Поздоровавшись с Бабашем, артист сразу перешел к делу.

— Джамал приехал, — сухо сообщил он. — У него дело к тебе.

— Неужели такое трудное? — попробовал пошутить Бабаш.

— Для тебя это будет нетрудно.

— Почему же тогда оно для тебя трудное, великий артист? Неужели люди уважают тебя меньше, чем нас?

— Если б я мог помочь, то не стал бы звонить тебе. — Садай старался быть насколько возможно приветливым. — Ну как, примешь его?

Видно, Бабаш Зиядов быстро понял, что шутки с артистом ни к чему хорошему не приведут, и после недолгого молчания ответил уже серьезным тоном:

— Ладно, пусть приходит, я приму его. — Потом опять помолчал и с плохо скрываемой обидой в голосе добавил: — Я думал, ты позвонил, чтобы поздравить меня…

С этими словами Бабаш повесил трубку, а артист так и остался с трубкой в руке, непонимающе глядя на Мопассана Мираламова.

— Слышал? Говорит “не поздравил меня”. С чем это я его должен был поздравлять?

— Не знаю… — задумчиво пробормотал директор, не отрывая глаз от телефонного аппарата. — Во вчерашнем “Коммунисте” вышла его большая статья. Наверное, он это имеет в виду.

— Он тоже писателем стал?! — буркнул артист и направился к двери вслед за выходящим из кабинета Джамалом.

— Куда ты?! — неожиданно грубо заорал Мопассан.

— Провожу его, сам он не найдет дорогу.

— Сиди. Мой шофер отвезет его. — Мираламов чуть ли не вытолкал Джамала из кабинета, вцепился в руку Садая, подвел и усадил его в кресло. — Слушай, что с тобой происходит? — явно жалея артиста, проговорил Мопассан опечаленным голосом.

— А в чем дело?

— Я целый месяц не могу вытащить тебя из дома.

— Не преувеличивай, месяца еще нет, — отозвался Садай Садыглы.

— Когда ты был здесь в последний раз? Если вспомнишь, с меня хороший хаш.

— Честное слово, Мопош, устал я, все опротивело, — искренне признался артист.

— От чего ты устал? Кто тебе опротивел? Когда к тебе здесь плохо относились? А ты заперся и сидишь дома. Не понимаю, что можно целыми днями делать дома?

Мираламов достал из кармана пиджака ключ, не спеша стал открывать дверцу замаскированного под сейф старинного шкафчика — в театре его называли “тайником Мопоша”. Он извлек оттуда хранимую для самых уважаемых гостей бутылку французского коньяка, коробку московских конфет, две хрустальные рюмки и поставил все это на стол.

— Ну давай посидим, — сказал он, разливая коньяк по рюмкам. — Посидим немного, развеемся.

Уже много месяцев Садай Садыглы совсем не пил спиртного. Он почему-то убедил себя, что, если выпьет, обязательно что-нибудь натворит. Причем что-то очень страшное. Однако выпитый сейчас коньяк тут же освободил его от этого страха. Приятное ароматное тепло разлилось по телу, проникло в душу, впиталось в кровь. И все вокруг неожиданно сделалось шире, свободней, добрее.

И отчего же, Бог мой, в давно забытом тобой Айлисе опять ожили все горы и камни Твои? И каким образом, Господи, голос ушедшей в небытие Анико мог сотворить из ничего еще одно яркое, живое и звонкое айлисское утро? И почему, Создатель, Садаю так сильно захотелось вдруг хвалить и прославлять перед Мопассаном Анико — сказать о трудолюбии и чистоплотности этой последней жительницы Айлиса — армянки по национальности?

У артиста возникло страстное желание сказать директору театра какие-то возвышенные слова вообще об айлисских армянах, об их чудотворно-созидательном трудолюбии и нескончаемой вере в Бога. Однако он не стал этого делать. Понял, что нет никакого смысла рассказывать о ком-то из айлисских армян человеку, не рожденному в Айлисе, не имеющему представления о перезвоне колоколов, когда он разом доносится из двенадцати айлисских церквей; ничего не слышавшему о черном коне Адиф-бея и остром кинжале мясника Мамедаги; ни разу не видевшему того желтовато-розового света, который, таинственно сияя на высоком куполе церкви, быть может, и по сей день завораживает душу какого-нибудь айлисского мальчишки.

Нет, Мопассану Мираламову он не сказал ни единого слова об Айлисе. Вместо этого похвалил коньяк Мопоша, сказал добрые слова о конфетах. А в душе подумал, что зря он так настойчиво избегает людей. Одиночество, подумал он, и есть смерть, а возможно, и хуже смерти. И еще он подумал, что хорошо все-таки хоть изредка выпивать, иначе можно уйти из жизни, так и не выбравшись из липучей тоски.

После рюмки французского коньяка и у Мопассана Мираламова явно улучшилось настроение. Лицо его прояснилось, глаза засияли. Но “дядя Мопош”, которому не терпелось поговорить о новой пьесе, вовсе не спешил перейти к делу. Может быть, он хотел сначала (согласно плану) поднять настроение артисту, чтобы потом легче было уговорить его. А может, тянул время, боясь услышать отказ Садая Садыглы, характер которого он хорошо знал. Или и сам директор не был уверен в художественных достоинствах пьесы, присланной в театр из Центрального Комитета, и потому сейчас, в дружеской обстановке, ему было трудно расхваливать ее так же убедительно, как он не раз это делал в телефонных разговорах с артистом.

Мопассан Мираламов опять разлил коньяк по рюмкам. Отхлебывая его маленькими глоточками, он улыбнулся, весь сияя от счастья.

— Смотри, мастер, как все здорово вышло! Оказывается, Бог и ко мне благосклонен, хоть я вовсе не такой святой, как мой лучший друг Садай Садыглы. Все это сам Бог устроил. И пастуха твоего сегодня послал сюда именно Аллах. Если бы не он, я бы тебя, может, еще месяц не смог выманить из дома. А как замечательно вышло с Зиядовым. По какому

поводу я стал бы звонить Зиядову, если бы твой друг детства не явился сюда собственной персоной? Ты слышал, как я обворожил его именем нового Первого? Зиядов уже готов профинансировать три-четыре просмотра нашего будущего спектакля. И профинансирует — я в этом уверен стопроцентно. Он сейчас опять на коне. Они дружили с нынешним Первым еще на комсомольской работе.

— А разве Бабаш не был человеком Бывшего? — простодушно спросил Садай Садыглы, все мысли которого были заняты Джамалом.

— Выпей, — предложил директор, кивая на рюмку, стоявшую перед Садаем. — Это же настоящий бальзам. У меня есть отличный чай, сейчас заварим. — Он поднялся, наполнил водой электрический самовар, включил в розетку. — Брось ты, ради Бога! Разве бывший Первый когда-нибудь хотел видеть рядом с собой живого человека? Да кто при нем посмел бы сказать: я тоже человек, сын такого-то мужчины или такой-то женщины? Если в ком и было что-то человеческое, он своими жандармскими методами мог любого превратить в какую угодно тварь, лишь бы тот покорно служил ему. Он всех без исключения вынудил надеть на морды маски. Как теперь мы можем сказать, кто из них был его человеком, а кто не был?

Садай Садыглы вспомнил, как извивался и кланялся перед бывшим Первым сам Мопош каких-нибудь десять лет назад в этом кабинете, и еле сдержался от смачной матерщины. Он залпом выпил коньяк и поставил рюмку на стол.

— Постой, постой, имей совесть! — воскликнул он. — Это ты мне говоришь?!

Внезапная вспышка артиста повергла Мопассана в растерянность, сбила с него спесь.

— Если не с тобой, то с кем же теперь мне, брат мой, делиться? — жалобным голосом произнес он. — Я же правду говорю, разве не так? Если б все *эти*, действительно были его людьми, то хотя бы кто-нибудь из них хоть раз поехал бы сейчас навестить его. Ведь говорят, никто к нему и близко не подходит. Сидит себе на даче и волком воет от одиночества.

— Конечно, воет, а ты бы не взвыл? — Артист, встав с места, принялся прохаживаться по комнате. — У людей, которым он плевал в лицо, еще и слюна не высохла, а они уже выстроились в очередь, чтобы лизать зад новому Первому, как ты его помпезно именуешь, то ли от “любви”, то ли из страха.

Мопассан не смог скрыть своего смущения, тем не менее взял себя в руки и нашел что ответить.

— Да, это так. Ты совершенно прав. И мы такие же: и я, и этот Бабаш Зиядов. Но ведь и это, брат мой, его наследство. Ведь он за тринадцать лет у нас на глазах превратил раболепие в образ жизни целой страны. Разве может Новый за пару лет что-то изменить?

— Мопассан от волнения даже покраснел. — Но все исправится, вот увидишь, постепенно все изменится.

— Нет, ничего не изменится, — лихорадочно-взволнованно сказал Садай Садыглы. — И ничего вы не сделаете с бывшим Хозяином, как его до сих пор величают в народе, даже если будете еще громче поносить его. Теперь вы собираетесь взвалить на него всю вину за собственную рабскую покорность, чтобы выйти из этого дерьма чистенькими. Жаждете кровопускания и при этом страшно торопитесь, потому что хотите всего сразу и побольше и главное — без затрат энергии и ума. А вот он достиг своей вершины благодаря собственному уму. И врожденная страсть к власти питала его энергию. Да, он слагал рабские гимны, но разве не вы хором пели их? Теперь же, в самый разгар продажности, когда в людях не осталось ни капли совести и стыда, когда обида и злость душат всех, когда лжи стало так много, что трудно не потерять ориентиры, вы нашли в себе “смелость” предъявлять счет опальному Хозяину. — Отрешенно помолчав, он продолжил, по-прежнему сурово и непреклонно: — А он заслуживает уважения хотя бы за то, что имел ясную жизненную задачу, пусть даже полицейско-насильственную. Он был человеком живого гибкого ума и сообразительности невероятной. Этот человек всегда четко знал, что ему надо. И вдобавок был силен чертовски. — Артист говорил громко и уже почти не сердился, напротив, сдержанно ликовал.

Мопассан Мираламов сидел неподвижно. Давно и хорошо знавший артиста, он, возможно, заранее предполагал, что Садай Садыглы не пойдет теперь против опального бывшего Вождя, не станет петь в одном хоре с его новоиспеченными противниками: это было бы против его характера. Но сказанное артистом вызывало в нем тревогу.

— Вот как, вот как, — растерянно пробормотал он. — Честно говоря, я так и думал. Я знал, что плыть по течению ты не станешь. — Мопассан говорил мягко и дружелюбно, стараясь держаться солидно. — Ты терпел от него много зла, но не хочешь отвечать злом за зло. Однако подобная щепетильность делала бы тебе честь, если бы сейчас мы говорили о рядовом человеке, незаслуженно обиженном. Но мы говорим о государственном деятеле. Поэтому я склонен думать, что ты поддался чувствам. Ведь ты не так думал всего два-три месяца назад, когда мы встречались в театре минимум раз в неделю.

— Да, встречались, — ответил Садай Садыглы, страдальчески жмуря покрасневшие от волнения глаза. — Но мне с лихвой хватило этих двух-трех месяцев, чтобы ясно представить себе, куда ведет страну весь этот перестроечный лай и вся эта политическая шумиха. Я убедился, что так бездарно разваливать страну могут только сверхбездарные люди. Ты разве не видишь, что ни в одном их действии нет ясного смысла? А вся эта их перестройка — не более чем новое оружие в борьбе за власть. Народ в полной

растерянности, никто не верит, что он хозяин своей судьбы. Все трещит и разваливается. Страна становится смрадным болотом. А свора говорливых псов, опьяневшая от дармовой свободы, денно и нощно соревнуется в пустой, беспредметной болтовне. Должно утечь много воды, чтобы эти ненасытные говоруны захотели хотя бы услышать друг друга. — Артист говорил страстно, будто на сцене, желая докричаться до последнего зрителя. — А твоему Новому с его другом по комсомольской юности вместо того, чтобы обдумать и уразуметь смысл происходящего, так не терпится дать Бывшему по зубам лишь по той пошлой и банальной причине, что при нем они долго плелись в хвосте у власти, хотя и ту власть получили из его рук. — Артист снова стал нервничать, волнение перехватывало горло. — Да, он собирал вокруг себя подхалимов и периодически публично издевался над ними. Но, как я теперь понимаю, потому, что наверняка знал: каждый подхалим в глубине души — потенциальный тиран. И в каждом таком мелком тиране видел жалкую пародию на себя. Но все это было вчера. А что, сегодня лучше, что ли, стало? Страну превратили в огромный сумасшедший дом. Даже Кремль напоминает шарашкину контору без сторожа, где самозваные политические вундеркинды заигрались в своих затеях, загнав страну в тупик. Испытывают народ, обещая ему какие-то иллюзорные перестроечные чудеса, а что на самом деле? Всеобщее одичание. Кругом полыхают пожары, а кучка шустрых молодчиков с мутной совестью безответственно призывает людей к еще большей социальной активности. В сравнении с такими политкакашками я готов поставить Бывшего на уровень великих людей…

Знающий наизусть десятки монологов Садая Садыглы, произнесенных со сцены под обвал аплодисментов, Мопассан Мираламов как опытный театрал завороженно слушал этот монолог. Он и раньше знал, что Садай Садыглы давно перерос артиста, но теперь ему стало страшновато. Он не собирался возражать Садаю, но вдруг словно какая-то муха его укусила. Злорадно потирая руки, он неожиданно прервал актера:

— Постой, постой! А ты не думаешь, что Он сам устроил Сумгаит, чтобы отомстить Кремлю?

— Нет, даже мысли такой не было, — без колебаний ответил Садай. — Более того, я абсолютно уверен, что, когда обезумевший от дармовой вольницы люд творил в Сумгаите черные дела, он сидел перед телевизором на даче и плакал горькими слезами, ужасаясь тому, что творит бездарная политика в этой некогда примерной Советской Социалистической республике.

— Ну, ты даешь сегодня, ей-богу! Как будто уже забыл, каким он был невыносимым человеком. Ты только что возмущался при своем земляке, что теперь каждый, кому не лень, несет бредни про армян. Но ты же прекрасно знаешь, что армяне отвернулись от нас

в результате его хитрой и коварной политики. А ты теперь делаешь вид, будто всего этого не было. Восхваляешь его, решив, что этого требует долг чести и порядочности. А ведь он тебя люто ненавидел, и это знали все.

Артист был ошеломлен фальшью запоздалой смелости Мопассана.

— О Господи, держи меня, держи! — громко воскликнул он. — Ты опять врешь, Мопош, он иногда мне и симпатизировал. У него всегда был свой интерес, этого я не отрицаю. Но он никогда не разбрасывался людьми, которых народ ценил и уважал. И в том, как Бывший относился лично ко мне, он был виноват ровно столько же, сколько и я сам. Ненависть к гэбистской системе была тогда моим дыханием. Я хотел в одиночку спасти честь азербайджанского театра — вот каким я был дураком! И, как мне кажется теперь, каким-то чутьем он понимал мое донкихотство. Потому что сам был талантлив, Мопош! — Артист задумался, досадуя на свой горячий порыв, потом продолжил сдержанней: — Он запретил мне казенное благополучие и дешевую славу. Он толкал меня на мятеж против него же самого. И мне по душе была роль, которую он выделил мне в этой беззлобной трагикомедии. Ведь я всегда считал, что надо периодически портить отношения с властью, чтобы сохранить в себе ощущение свободы. В этом смысле я готов считать его своим крестным отцом.

— А ты, родной мой, не замечаешь, что бесконечно противоречишь сам себе? — тихо спросил Мопассан.

Сжигаемый внутренним огнем Садай Садыглы или не услышал его реплики или решил пропустить ее мимо ушей.

— Но это было тогда, когда я мог находить в себе силу, чтобы подняться после любого удара. Теперь таких сил у меня нет. Я уже ничего не понимаю, Мопош, клянусь могилой матери. Признаюсь тебе, Мопош, я боюсь. Мне постоянно снятся кошмары — один страшней другого. Я давно уже стараюсь не иметь никаких связей с внешним миром. А когда сталкиваюсь с ним, поражаюсь тому, что в нем происходит. Люди изменились до неузнаваемости. Это же ужасно, Мопош, что в целой стране не оказалось ни единого духовного авторитета, который, не боясь за свою шкуру, мог бы сказать народу правду. Где наша гуманная нация? Где наша прославленная интеллигенция? Я это давно чувствовал, Мопош, думал об этом и раньше: петля, которую затягивал на горле непокорных наш бывший “отец родной”, когда-нибудь и без него должна была додушить нашу несчастную интеллигенцию. — Артист замолчал, ощутив внутри жуткую опустошенность.

Мопассан взволнованно вскочил с кресла и воскликнул:

— Брат, ты гений, клянусь Аллахом! Какой прекрасный монолог ты произнес. Только, родной мой, разве я возражаю? Ведь и я говорю то же самое.

— Нет, ты говоришь: сотворим себе еще одного властолюбивого Хозяина страны. Чтобы он, когда ему нечего делать, приходил поразвлечься здесь с нами. Ведь и ты видишь, что место бывшего Хозяина пусто. Весь народ сейчас устремил взоры на это пустое место и с дьявольским беспокойством в душе втайне тоскует по Бывшему. В этом-то и сила его. Он оставил после себя такую пустоту, заполнить которую никто, кроме него, не сможет.

В этот раз он сам дрожащими руками разлил коньяк по рюмкам и, едва выпив, сообразил, в чем причина беспокойства, поселившегося в каком-то уголке мозга.

— Все хочу спросить, да забываю. Ты говорил, что Бабаш Зиядов написал статью. А что он там написал? Неужто тоже обличает Бывшего? — с иронией спросил он.

— Нет, там, кажется, о Бывшем речь не идет. Зато твой земляк здорово проехался по армянам. — Мопассан попытался через силу улыбнуться. — Сейчас посмотрю, где-то она у меня должна быть. — Он поднялся и легко выхватил газету из толстой стопки.

Это была большая статья, занимавшая целую полосу газеты “Коммунист”. В центре крупными черными буквами был набран заголовок: “Армянский подлый след”, а в конце стояло имя автора — “Бабахан Зиядханлы”.

Садай Садыглы и без очков мог разобрать выделенные жирным шрифтом и щедро разбросанные по статье слова “неблагодарные”, “коварные”, “опасный враг”… Он уже хотел отложить газету, когда взгляд его натолкнулся на слово “Истазын”, и тогда, надев очки, он стал читать всю статью.

Подобную вопиющую пошлость артист, быть может, раньше встречал только в псевдопопулистских статейках новоявленных историков и впавших в полный маразм писак-романистов. Из статьи Бабаша явно было видно, что он вдоволь начитался такого рода сочинений.

По мнению Бабаша Зиядова, первоначально слово “Истазын” означало “уста озан26 ”, и якобы чтобы стереть из истории следы пребывания на этой земле ее исконных обитателей, армяне намерено исказили его, приспособив к собственному языку. Эти самые “уста озаны”, мол, еще за три тысячи лет до нашей эры переселились из гористого Айлиса в междуречье Тигра и Ефрата — на “шум ер”, то есть на равнины, и создали там государство, которое на своем языке и назвали “Шумер”, так зародилась там древняя цивилизация, известная теперь под названием “шумерская”.

По мнению “Бабахана Зиядханлы”, слово Айлис было образовано от слова “айладж”, то есть “место поселения”. Армяне в Айлисе якобы никогда не жили, и все церкви и кладбища ранее на “одарском”27 языке назывались “гюр од” — “бурный огонь” и

являлись землями древних тюрков, более известных как албанцы. Автор с жаром доказывал, что наши “неблагодарные соседи” на протяжении всей истории изменяли топонимы на территории Азербайджана, давая им свои названия. Например, Одерман они называли Гирдиман, Гюрсу — Горис, Гурбаг — Карабах, Элвенд — Ереван, выдавая эти земли за исторически принадлежавшие им. Земля, по-одарски именуемая Гапуагыз (то есть вход, ворота), впоследствии в русифицированном варианте приобретшая форму “Кавказ”, была землей древних “эрменов” — отважных тюркских мужей, однако, мол, наши соседи взяли свое название именно от этого слова, так и возник на Кавказе никогда прежде не существовавший здесь народ — “армяне”.

Свою большую статью Бабаш заканчивал хорошо известными всем и уже ставшими гимном нового времени стихами поэта Улуруха Туранмекана28 :

“Азербайджан — дар, дороже крови,
дороже жизни, наш дом прелестный.
Кто не отдаст за него кровь и жизнь,
Тот трус и негодяй бесчестный”29.

Читая белиберду Бабаша, артист, улочка за улочкой, дом за домом, мысленно шел по Айлису от Истазына (Аствасдуна) до Вурагырда — Вардакерта, а закончив чтение, вдруг почему-то подумал, что никогда более не увидит Айлиса, не пройдется по его садам и улицам.

Перед его глазами встала одинокая — на мусульманском кладбище Айлиса — могила его матери. Уже неделя, как мать каждую ночь во сне приходила к Садаю. Садилась возле его кровати, собираясь поговорить с ним, но каждый раз молча вставала и уходила. Почему она молчала, чем была недовольна?.. Садай не решался спросить ее об этом. Точнее, не мог — он при матери немел. А проснувшись, всякий раз думал: может, мать недовольна и обеспокоена именно тем, что он в душе так рвется в Эчмиадзин? Никаких иных причин недовольства матери артист не мог себе представить.

И вдруг ему показалось, что и самого Айлиса никогда не было на свете. Не было ни Бабаша, ни Джамала, ни Люсик… Не было и той церкви, и того напоминавшего ему улыбку Всевышнего желтовато-розового света. И сглатывая комок в горле, он думал о том, что, может быть, и Бог — выдумка, ложь? Его нет и никогда не было?

— С каких это пор наш Бабаш Зиядов стал Бабаханом Зиядханлы? — спросил он с потемневшим лицом. — В Айлисе один его дедушка был муллой-недоучкой, а другой — шутом-чайханщиком.

Мопассан усмехнулся, растерянно поводя глазами по сторонам.

— Смотри, как развернулся этот подонок, — продолжал Садай Садыглы. — Ни стыда ни совести. Что делает с человеком ненасытная жажда власти! У этого Жопахана Пиздаханлы нашелся целый арсенал отборной лжи, чтобы оболгать свою малую родину, но не нашлось ни слова сострадания к своему крестному отцу. А ведь этого Жопохана не Бог сотворил из глины, Мопош, сотворил его тот же наш Вождь. — Он сел, опустошенный, его охватили отчаяние и уныние. — А теперь, будь добр, скажи мне, кто разрешил Бабашу Зиядову напечатать в официальной партийной газете такое зловонное дерьмо и почему под этим дерьмом он подписался не Бабашем Зиядовым, а Бабаханом Зиядханлы? В роду у этого ублюдка никогда не было ни беков, ни ханов.

— Что я могу сказать, — выдавил из себя Мопош после продолжительной паузы. — Наверное, ему посоветовали так подписать статью. Значит, так решили.

— Кто это так решил?

— Да наверху. Где же еще решаются такие вопросы?

— А что, там, наверху, войну начинать собираются? Если Бабаш их человек, почему же в своей с позволения сказать статье он так бездумно, как безответственный митинговый “патриот”, подливает масло в огонь?

Очевидно, директор решил, что настал подходящий момент для того, чтобы продемонстрировать артисту свой ум и государственный подход.

— Твоя наивность убивает меня, честное слово! Разве ты не видишь, что вытворяют эти фокусники-“фронтовики”, повсюду орущие: “Карабах, Карабах!”? Да ведь им наплевать на Карабах. Их цель скинуть эту власть и взять власть в свои руки. А чернь на улице сейчас слушает только тех, кто ругает армян. Что же в таком случае должно делать правительство? Они тоже вынуждены в своих целях разыгрывать армянскую карту. Это — политика, мастер. А политика — вещь многоликая. — И Мопассан улыбнулся, явно гордясь своим умом.

— Да, да, очень большая политика. Ей-богу, просто гениально! Значит, черни опять повезло: вот какие возможности открылись для подлости. Можно творить любую пакость, все равно в конечном итоге виноваты будут армяне. — Артист близко подошел к директору и посмотрел ему прямо в глаза. — Теперь, Мопош, давай поговорим как мужчина с мужчиной: если пьеса твоя посвящена такой “гениальной политике”, то можешь заранее считать, что я от нее отказался. Я уже не в том возрасте, чтобы пропагандировать со сцены подобную чушь и пошлость.

Если бы Мопассан Мираламов видел в главной роли в этой пьесе, на успех которой он возлагал большие надежды, кого-нибудь другого, то, быть может, пренебрег бы просьбой

автора и даже желанием начальства и прямо сейчас рассчитал бы этого чистоплюя. Но дело было в том, что и сам он видел в этой роли только Садая Садыглы.

— Странные вещи ты говоришь, — произнес он. — Разве подобает мне в таких делах хитрить с тобой? — Он вытащил из ящика стола папку и протянул ее артисту. — Вот пьеса: “Мы ад назвали раем”. Уже по одному названию видно, о чем здесь речь. Ты сам в свое время говорил нам все это, только у нас ума не хватало понять. А теперь появился молодой автор, написавший об этом пьесу. Создал в ней отрицательный образ Вождя, этакого политического авантюриста. — Директор умолк, ненадолго задумавшись. — Такой большой артист, как ты, до сих пор не получил звание народного. Почему? Потому что ты всегда говорил правду. Никогда не склонялся перед этим политическим драконом. А сейчас, тысячу раз слава Аллаху, все постепенно меняется. И Новый хорошо знает тебя. Знает, что ты один из немногих среди интеллигенции, не певших Вождю дифирамбов. Так что после премьеры сразу получишь звание, которого давно достоин. Все обговорено.

Казалось, Мопассан Мираламов хочет заворожить Садая Садыглы. И любой, кто сейчас посмотрел бы на них со стороны, мог поверить, что директору это удается. Потому что артист, казалось, покорно и смиренно молча слушал Мопассана. На самом же деле Садай Садыглы просто устал. Сейчас для него не было никакой разницы между Бывшим и Новым, Мопошем и Бабашем, Джамбул Джамалом и Джингез Шабаном, между правдой и обманом, истиной и ложью. Все кругом казалось ему пропитанным фальшью и продажностью. И еще какое-то не поддающееся объяснению чувство стыда и сожаления безжалостно преследовало артиста. О чем же он столь мучительно сожалел? Может, о том, что разболтался с Мопошем, который и после всего происшедшего ничему не научился и, как встарь, старался быть безжизненной декорацией придворно-партийного театра? А может, эту бездонную душевную пустоту оставил ему после себя Джамал — такой жалкий и практичный, не имеющий ничего общего с тем желтовато-розовым церковным светом и их айлисским общим детством? Или стало ему так тяжело и тревожно оттого, что увидел он мысленно новый облик Вечного Зла, обретший и новое имя — Бабахан Зиядханлы?

Так или иначе, за день до того трагического воскресенья декабря 1989 года после многочасовой утомительной беседы с Мопассаном Мираламовым Садай Садыглы находился в унизительной пустоте. И самым ужасным было то, что в этой пустоте даже священный алтарь эчмиадзинской церкви казался Садаю Садыглы таким же тоскливым, как сцена их театра.

Он вышел из театра с мутным сердцем и иссушенным умом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДОКТОР АБАСАЛИЕВ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО, ЕСЛИ БЫ ЗАЖГЛИ ВСЕГО ПО ОДНОЙ СВЕЧЕ КАЖДОМУ УБИЕННОМУ АРМЯНИНУ, СИЯНИЕ ЭТИХ СВЕЧ БЫЛО БЫ ЯРЧЕ СВЕТА ЛУНЫ

Густой туман, целиком поглотивший мир…

Но не может мир состоять из одного только тумана. За ним обязательно что-то должно быть. Мир, скрытый туманом, скоро обязательно проявится. Садай Садыглы знал это и в своем бессознательном состоянии ждал только этого.

Туман действительно стал постепенно рассеиваться, однако артист все равно не мог понять, где находится. И вдруг он обнаружил себя на холодном каменном тротуаре. И показалось ему, что он в Айлисе, сидит прямо посреди мощенной камнем улочки, идущей к Вурагырдской церкви. Однако с того места, где он сидел, ее не было видно, не было видно и высокой горы за церковью, и охваченный тревогой и страхом, артист вновь пытался понять, где он: если это действительно мощеная вурагырдская улочка Айлиса, тогда куда же делись церковь и гора?..

И тогда артист со сладкой надеждой поверил, что он уже далеко и от горы, и от церкви, и от вурагырдской улицы и уже приближается к Эчмиадзину. Это новое счастье, бальзамом пролившееся ему на сердце, охватило его именно в тот миг, когда его перевозили из операционной в палату. Хоть разум его был сейчас бессилен понять происходящее, какими-то органами чувств Садай Садыглы ощутил перемену места.

Лишь на четвертый день — ближе к вечеру — состояние больного стало относительно улучшаться. Говорить он пока не мог, но, кажется, слышал голоса и даже понимал, о чем говорят. Уже три дня Азада ханум неотлучно находилась при муже. Мунаввер ханум тоже проводила в палате Садая Садыглы большую часть дня.

А доктор Фарзани, казалось, обрел в лице Азады ханум давно потерянного близкого человека. Все свободное время он не покидал палату. Перемежая русскую речь с азербайджанской, они разговаривали на различные темы. Палата, куда доктор Фарзани всего четыре дня назад поместил артиста, из больничного помещения превратилась в дом, где живет дружная семья.

Азада ханум пока не решалась сообщить отцу о тяжелом состоянии мужа. И доктора Фарзани просила не раскрывать всей правды в телефонных разговорах с отцом, пока больной не выйдет из комы, так как опасалась, что это может разволновать его. Однако в этом вопросе доктор Фарзани не хотел изменять и своему врачебному долгу.

“Немного похоже на краниостеноз — не тревожьтесь, все пройдет”, — говорил он. Ведь при желании краниостеноз, то есть травму мозга, можно было истолковать и как травматическую кому.

Никого, кроме Нувариша Карабахлы, доктор Фазрани не пускал к больному. Будь на то воля Мунаввер ханум, она бы и Нувариша не пускала: ей не нравилось, что Нувариш каждый раз выходит из палаты со слезами на глазах. По мнению медсестры, его трагическая поза у постели больного наводила на мысль об оплакивании покойного.

На четвертый день пребывания Садая Садыглы в больнице начали ощущаться существенные изменения в его состоянии. Он шевельнул языком, стараясь облизнуть губы. Его правая рука находилась в непрерывном движении. Артист напрягал все силы, старясь поднять ее, и Азада ханум очень опасалась этого: ей казалось, что он хочет поднять руку, чтобы перекреститься.

Мунаввер ханум из ложечки поила больного мясным бульоном. Доктор Фарзани неслышными шагами прохаживался по палате, иногда останавливался и, не отрывая глаз от телевизора, о чем-то серьезно думал. Звук телевизора был приглушен, на экране какой-то плотный широколицый мужчина с густой бородой, которого в последнее время можно было часто видеть на экране, о чем-то горячо говорил, размахивая руками.

На самом же деле это был поэт Халилуллах Халилов, который благодаря своим стихам о партии и Ленине уже более тридцати лет занимал место в школьных хрестоматиях. Однако те стихи в один год стерлись из памяти людей вместе с именем автора. Ныне поэта звали Улурух Туранмекан, и сотни тысяч людей не только на митингах на площади Ленина, но и в самых далеких селах на свадьбах и поминках вдохновенно читали наизусть его поэму “Карабах — ты мой чырах30 ”. Разумеется, доктор Фарзани знать ничего не знал ни о Халилуллахе Халилове, ни об Улурухе Туранмекане. Возможно, просто как врач он хотел понять, из каких источников черпает этот человек свою неуемную энергию. Впрочем, в конечном итоге он пришел к выводу, что здесь особо понимать нечего. И подтолкнули его к такому выводу две строки, которые, заканчивая выступление, поэт произнес громче и с особым пафосом:

Не зарься на мою родину, хай31 .
Ведь земли не раздают в пай32.

— Ну, молодец! — махнул рукой доктор Фарзани и, отойдя от телевизора, снова стал прохаживаться по палате. — Этот бородатый ребенок, наверное, и Азраила не боится. Думает, что не наступит день, когда и ему отмерят его пай земли. Длиной самое большее в

два метра, а шириной — не более пятидесяти-шестидесяти сантиметров. Впрочем, нет, — засмеялся доктор, — его доля, наверное, будет чуть побольше — борода у него больно широкая.

Так, в хорошем настроении, доктор подошел к больному. Осторожно приподнял его веки, внимательно вглядываясь в зрачки.

— Назначения пока останутся теми же, — сказал он. — Подождем, пока он начнет узнавать людей и говорить. Надо сделать все, чтобы предотвратить инсульт. Если удастся избежать инсульта, с остальными болячками он с Божьей помощью справится. Пока он далеко. Вернется, когда захочет увидеть нас. А вот если не захочет… — Доктор вздохнул и улыбнулся. — Да нет, Бог даст, захочет.

Садай Садыглы, действительно был далеко. Очень далеко от доктора, жены, палаты, в которой находился, и даже от травмы мозга и ран на теле. В Айлисе… Да, да, безусловно, он был в Айлисе. Однако этот Айлис был не реально существующим в мире, а тем, который когда-то, в четыре-пять лет, Садай увидел во сне и куда как-то весной откуда-то забежал красивый черный лисенок. Садай всего раз увидел его на заборе их двора. Черный лисенок перепрыгнул с забора на дерево, стал скакать с ветки на ветку и затерялся среди зеленых листьев. А через несколько дней Садай увидел, как Джингез Шабан застрелил этого лисенка около родника — на заборе перед Каменной церковью. С тех пор лисенок чуть ли не каждую ночь снился Садаю.

И вот сейчас тот лисенок был опять жив. Перепрыгивая с заборов на деревья, с деревьев на заборы, он двигался от одного конца Айлиса к другому. И один Бог знает, как давно шел по следу этого красивого черного лисенка мальчик четырех-пяти лет. Он никогда не видел животного красивей. И не было лучше весны, и никогда в мире не было Айлиса, прекрасней этого. Свет. Всюду свет. На горах — солнечный свет. На деревьях — свет черешен. Еще только появились первые листочки на вербах. Только распустилась сирень. Что же это был за год, какой поры была та весна? Ведь черешня еще не созревает в пору цветения сирени.

И еще казалось, заборы, по которым скакал тот игривый лисенок, были воздвигнуты не из камня, а из желтовато-розового света, и свет этот лился со стен на улицы, дороги. Все дворы, которые видел в Айлисе тот мальчик, были аккуратно убраны, обсажены цветами, улицы были чисты, как стеклышко.

Окрашенная тем светом, текла вода по арыкам, по краям которых росли фиалки и ирисы. Красавец лисенок скакал, радуясь и играя, по заборам вверх, к Каменной церкви, купол которой золотился под лучами солнца, и вместе с ним радовались и трепетали ярко-зеленые листья ореха, алычи и абрикосов, растущих вдоль заборов и по краям арыков.

Иногда лисенок исчезал из виду среди яркой зелени листьев, потом появлялся снова. И именно в эти мгновения — между появлением и исчезновением лисенка — лежавший на больничной койке Садай Садыглы испытывал самые болезненные муки.

Одним словом, констатация доктора Фарзани, что больной сейчас далеко, была точна. И прав был доктор, когда говорил, что сейчас только от самого больного зависит, будет ли он дальше жить или нет: захочет — вернется, не захочет — останется там…

Больной же пока не хотел возвращаться. Сказочно-прекрасная погоня за лисенком продолжалась. И единственным желанием мальчика было поймать его, прижать к груди, расцеловать, погладить это прекрасное создание по голове, по хвосту. Пока этот лисенок, живой и здоровый, скакал по залитым светом заборам и мог укрываться среди зеленой листвы, и артист наш Садай Садыглы был жив.

В последний день года Мунаввер ханум, придя на работу, первым делом стала снимать повязки с больного. Она радостно сообщила врачу, что вывихи на двух пальцах, левом локте и запястье полностью пришли в норму. Потом Мунаввер ханум и Азада ханум сообща как следует протерли тело артиста спиртом. Теперь из физических проблем оставался только упакованный в гипс перелом правой ноги. Что же касается сознания больного, то здесь особых перемен не наблюдалось: пока невозможно было понять, реагирует ли он на разговоры окружающих.

Азада ханум заранее планировала устроить в палате новогоднее застолье. Она намеревалась пригласить и отца из Мардакян, чтобы провести этот вечер вместе. Потому что и доктору Фарзани, и Мунаввер ханум тоже не с кем было встречать Новый год.

Однако доктор Абасалиев, хоть и обещал днем, что к вечеру приедет в город, позже передумал. Задолго до наступления вечера он позвонил и сказал: “В такой день боюсь оставлять дачу без присмотра. Превратили страну в бандитский притон. Я уже и на мардакянцев полагаться не могу”.

Впервые в жизни Азада ханум встречала Новый год без отца. Мунаввер ханум, жившая неподалеку от больницы, встретила Новый год вместе с Азадой ханум, а потом ушла домой. Доктор Фарзани на несколько минут заглянул в палату перед уходом Мунаввер ханум, а потом засел в своем кабинете ждать звонка от дочери из Москвы. Азада ханум осталась с мужем наедине и, желая пробудить его, говорила ему слова, которые долгие годы скрывала в самых дальних уголках сердца: теперь этими словами она, как ребенка, ласкала мужа. Но и в эту ночь Садай Садыглы не произнес ни слова. Говорили только глаза артиста. Глаза эти порой, казалось, то смеялись, то плакали. Но чаще они были устремлены в какую-то бесконечную даль — словно смотрели прямо в лицо Всевышнему.

На десятый день после того, как Садай Садыглы попал в больницу, ранним утром доктор Абасалиев неожиданно распахнул дверь и вошел в палату. Когда старый психиатр возник на пороге в свитере, надетом под плотную куртку, и с портфелем в руке, доктор Фарзани, только что окончивший утренний осмотр, мыл руки в дальнем конце палаты. Мунаввер ханум приготовила для доктора завтрак и раскладывала его на круглом столике. Азада ханум стояла у окна и, глядя на двор, думала об отце, которого не смогла навестить на прошлой неделе. А больной по-прежнему лежал, улыбаясь, как мальчик четырех-пяти лет, однако с отсветом тоски в глазах… День был ясным и солнечным, несмотря на сильный ветер. Посторонний человек, заглянувший снаружи, решил бы, что сейчас заливающему палату солнечному свету больше всех радовался именно больной.

Доктор Абасалиев, еще не сняв куртки, бросился к зятю, расцеловал его. Потом подошел, крепко пожал руку доктору Фарзани, фамильярно погладил седые волосы Мунаввер ханум. И только после этого снял куртку, бросил ее на один из стульев, поцеловал в лоб дочку и сел в кресло рядом с кроватью.

Доктор Фазани был изумлен: то ли его поражали подвижность и молодцеватость немолодого знакомого, то ли он задумался над тем, насколько психически здоров сам профессор, позволяющий себе столь экспрессивно вести себя в присутствии тяжелобольного. Впрочем, профессор Абасалиев не дал доктору сказать ни слова и не попытался понять смысл тайной тревоги в глазах дочери. Дрожащими от волнения руками великий патриот Айлиса открыл лежавший на коленях портфель, достал из кипы исписанных листов одну страницу и, размахивая ею, как знаменем, с невиданным воодушевлением заговорил:

— Я принес тебе прекрасный Айлис трехсотсорокалетней давности, юноша. И не думай, что это сказки. Все, написанное здесь, стопроцентная истина. Я тебе когда-то рассказывал, что один айлисский купец вел дневник. Я видел его у Мирзы Вагаба еще до того, как турки разрушили Айлис. А после Отечественной войны мой друг из Еревана прислал мне русский перевод этого дневника. Я уж забыл, куда спрятал его, долго искал. И вот недавно нашел среди старых книг. По-русски он называется “Дневник Закария Акулисского”33 . Только мне кажется, что должно быть не Акулис, а Агулис. Потому что во многих старых книгах это слово писалось не через “к”, а через “г”. Может, позже русские переделали “г” на “к”. А в Айлисе, сам знаешь, этого человека до сих пор помнят как Зекерийе Айлисли. И Мирза Вагаб всегда именно так произносил это имя. И мой покойный отец многое знал об этом купце. — Доктор Абасалиев перевел взгляд с больного на Фарзани. — Его, Фарид, настолько уважали в Айлисе, что даже мусульмане называют своих детей в его честь! — Он снова повернулся к зятю: — Юноша, ты где-

нибудь в других местах видел, чтобы мусульмане давали своим сыновьям имя Закерийе? А в Айлисе ты чаще меня встречал Зекерийе. Помнишь, когда мы были там, он поехал и купил себе патефон. У него была всего одна пластинка — Хана Шушинского. С утра до ночи тот все пел “Кто будет ласкать тебя, дорогая, кто будет ласкать тебя, дорогая”? — Увидев, что доктор Фарзани собирается покинуть палату, профессор на минуту прервался. — Ты куда? Садись, послушай! — И когда хирург сел на место, продолжил: — Он написал в дневнике, что родился в 1630 году. Посмотри, этот айлисский армянин с немецкой точностью указал все, вплоть до дня и часа своего рождения: *“...в воскресный день, в день святого Геворга, во второй половине дня*”34 . — Он вытащил из портфеля еще один лист. — А вот как он начал торговать: 5 марта 1647 года в возрасте семнадцати лет он с тюком шелка выехал из Айлиса. “*Сегодня я, Закарий, выезжаю из Айлиса. Да поможет мне Святой Дух! Если где-нибудь я увижу что-то любопытное, буду записывать это в свою тетрадь. И если кто-то узрит ложь в моих писаниях, да просветит его разум Дух Святой*”.

Заметь, он говорит не “даст ему разум”, а “просветит его разум”. Насколько благороден был этот человек! Теперь обрати внимание на маршрут его путешествия: Ереван, Карс, Арзрум, Токат, Бурса, Измир, а потом — Стамбул. Причем у него везде написано не “Стамбул”, а “Стамбол”. Его первое путешествие длилось десять месяцев, в конце декабря он возвращается в Айлис. И где только после этого он не побывал: В Греции, Венеции, Испании, Португалии, Германии, Польше, Голландии…

Азада ханум налила отцу горячего чая взамен остывшего.

— Выпей хотя бы стакан чая, — сказала она. — Никуда не убежит твой армян-ский купец.

— Я уже пил чай. Ты же знаешь, я пью чай один раз в день, — сердито ответил дочке доктор Абасалиев и тем же сердитым тоном продолжил: — Ты знаешь, сколько бед принесли Айлису эти шахи, ханы, султаны!.. Вот, слушай, я почитаю: *“Год 1653, 10 июля, Айлис. Сегодня в Айлис прибыл наместник шаха Аббаса — Ага Лятиф. Он записал на бумаге имена шестнадцати малолетних мальчиков и девочек, но никого не взял с собой. На этот раз Бог помиловал нас”*.

А сколько несчастий обрушил на Айлис преемник шаха Аббаса — шах Сулейман! *“По приказу Сафикули-хана сегодня в Айлис из Еревана прибыл некто по имени Гагайыз-бек. Он привел с собой тридцать всадников. По приказу шаха они должны были собрать с жителей Айлиса 1000 туменов. Не было пределов взяточничеству, гнету, насилию. Они подвергли пыткам более ста человек, повесили тридцать пять человек. Но и после всех этих страданий народ смог собрать всего 350 туменов”*.

Доктор Абасалиев не только перевел с русского дневник армянского купца, родившегося 340 лет назад в Айлисе и объездившего весь мир, но, казалось, выучил этот текст наизусть. Необыкновенная память этого человека, которому было уже за восемьдесят, поразила доктора Фарзани. Он внимательно следил за коллегой и со все большим интересом слушал его.

— *“Сегодня в Айлис прибыл Хосров-ага и объявил народу о том, что его назначили правителем Гохтана35. Он привез много людей из Мегри, Шорута, Леграма…* — так раньше назывался Неграм. — *...Как они издевались над айлисским меликом36 Ованесом. Посадили беднягу на осла и под звуки зурны стали возить повсюду. Потом отняли у него сто туменов и отпустили”.* — Доктор Абасалиев некоторое время перебирал бумажки в своем портфеле. — Подумать только, юноша, — сказал он. — Ты представляешь, 22 июля 1669 года в Айлисе выпал снег! А в 1677 году с 3 июня до конца августа не пролилось ни капли дождя. А в мае 1680 года разразился такой ливень, что смыло все дома у реки. А потом случилась такая засуха, что нигде от Нахичевани до Тебриза даже для питья воды не было. В 1667 году в Айлисе больше двухсот детей погибли от оспы. В 1679 году в Ереване было такое сильное землетрясение, что потрескались стены домов и церквей даже в Айлисе. Закарий Агулисский перечисляет все церкви в Айлисе. Вангская церковь — это церковь Святого Фомы. Ты это знаешь. Вурагырд — это искаженная форма слова Вардакерт. А Вурагырдская церковь, где мы с тобой гуляли, — это церковь Святого Христофора. А церковь, которую мы называем Каменной церковью — это церковь Святого Ованеса, она, кажется, была построена при Закарии Агулисском. Или ремонтировалась и в тот период опять открылась, 5 ноября 1665 года. Так написано в дневнике. — Доктор Абасалиев некоторое время снова копался в своих бумагах. — *“Год 1668. 4 января. Сегодня в Айлисе произошло землетрясение”. “Год 1668. 26 февраля. Сегодня над Айлисом на западной половине неба появилась комета. Она предвещает нам несчастья за грехи наши”. “Год 1668. 21 декабря. Настоятель монастыря Святого Фомы архимандрит Петрос повелел обнести монастырь со всех сторон высоким забором. При строительстве куполов и колокольни используются речной камень и обожженный кирпич. Прибыли мастера из Курдистана…* — в те времена турецкие области Ван, Битлис, Диярбекр назывались Курдистаном, — *...внутренние стены облицовываются камнем. В монастырь проводится вода. Да дарует Бог силы всем строителям”.*

Доктор Абасалиев уже и не смотрел на больного, он выхватывал из портфеля одну за другой исписанные страницы и со странным пылом читал, словно для себя.

Мунаввер ханум, поняв, что это может затянуться надолго, попробовала вмешаться:

— Доктор, но ведь всюду пишут, что это церкви не армянские, а албанские. Говорят, позже армяне присвоили их. Может, и ваш Закарий был не армянином, а албанцем?

Доктор Абасалиев, кажется, не хотел тратить ни секунды на то, чтобы поднять голову и посмотреть на медсестру. Не отрывая глаз от бумаги, он воскликнул:

— Ты несешь полную бессмыслицу! Если кто-то сам называет себя армянином, как я могу сказать: нет, ты не армянин? Ты — албанец там или лезгин, талыш, мултанец. Правда, некоторые называют айлисских армян зоками37 . И язык их несколько отличается от языка ереванских армян. И в письменности можно заметить разницу. Но ведь и у нас в Ордубаде каждое мусульманское село говорит на своем диалекте. Шекинца никогда не спутаешь с бакинцем — столько различий в языке, характере, обычаях. Так и у армян. Я не знаю, кто были те албанцы, где они жили. Но знаю, что айлисские были армянами. Причем самыми первосортными армянами. Да, — проговорил доктор, опять обращаясь к Фариду Фарзани, — после арабского нашествия — с VIII по XIII век — были и турецкое, и татаро-монгольское нашествия, и огузы, и сельджуки. Потом почти три века эта земля была ареной кровавых войн между Ираном и Турцией. Эти приходят — убивают, те приходят — убивают. Если бы зажгли всего по одной свече каждому насильстственно убиенному армянину, сияние этих свеч было бы ярче света луны. Армяне терпели все, только веру свою менять никогда не соглашались. Этот народ уставал и изнывал от насилия, но никогда не прекращал строить свои церкви, писать свои книги и, воздев руки к небу, взывать к своему Богу.

— А что же еще делать народу, лишенному земли? Только и остается, что взывать к небесам! — тихо усмехаясь, ответил Фарид Фарзани.

Доктор Абасалиев выхватил еще один лист из своей стопки:

— *“Год 1651. 7 октября. Тебриз. С братом моим Симоном мы прибыли в Тебриз. Правитель Тебриза Алигулу-хан хотел, чтобы Симон принял магометанскую веру. Лишь Бог спас нас от этого великого несчастья”*. Так свято верили они, наши исконные агулисцы, в своего Бога, Фарид. Ведь этот Алигулу-хан готов был озолотить Симона, если бы тот согласился принять мусульманскую религию. — Он взглянул на непрестанно улыбающегося больного, сам тоже улыбнулся широко и сердечно и продолжил говорить с прежним азартом. — Был у них такой буйный поэт — Егише Чаренц — в тридцать седьмом репрессированный. Этот неугомонный весельчак и большой любитель крепкой тутовки однажды пошутил, говорят, очень остроумно: мы им не дали, сказал он, отрезать с того места жалкого кусочка ненужной кожи, а это дало им на редкость благовидный повод, чтобы зарезать всю нашу нацию.

Оставалось еще полчаса до очередного приема лекарств больным. Однако Азада ханум, поняв, что отец собирается продолжить чтение дневников, подошла к кровати и стала делать ему знаки: мол, пора оставить в покое больного. И снова доктор не обратил внимания на беспокойство дочери. Он вытащил из портфеля новую страницу и, помахивая ею, сказал:

— А здесь такое написано, юноша!.. Смотри, Закарий Агулисский 10 ноября 1676 года записывает: *“Я, Закарий, сегодня посадил во дворе церкви Святого Ованеса большую ветвистую чинару”*. Мне кажется, что там, у Каменной церкви, не было никакой чинары. А может, и росла, я забыл, тебе лучше знать.

И в это мгновение глаза Садая Садыглы вдруг невероятно расширились, и он пробормотал дрожащими губами:

— Чеш-ме-се-дин! Эч-ма-эчмаз-за!

Это были первые звуки, похожие на слово, которые он произнес за все время, проведенное на больничной койке. Но что это означает “Эчмиадзин”, могла понять только Азада ханум. И поняв это, она уже не могла сдержаться и, громко всхлипывая, жалобно разрыдалась:

— Папа! Папа!.. — говорила она сквозь всхлипы. — Он еще не может говорить, папа!.. Он никого не узнаёт. А ты все говоришь, говоришь без умолку.

Доктор Абасалиев мгновенно побледнел. Словно внезапно разбуженный человек, который силится понять, где находится, он взглянул на больного, потом по очереди на Фарзани, Мунаввер ханум, на свою безудержно плачущую единственную дочь.

— Ведь он сейчас что-то сказал, — произнес профессор, жалобно-вопросительно взглянув на Фарзани.

— Да, кажется, издал какие-то звуки. Он давно должен был заговорить. Но что-то дело затягивается.

— Видно, у него тяжелая форма амнезии. Что же вы раньше мне ничего не сказали?

— Да ты нам и рта раскрыть не дал, — с чуть фамильярным упреком ответил доктор Фарзани. — Ты был далеко, убежал в Айлис на триста сорок лет назад и даже не заметил нас! — Доктор Фарзани рассмеялся, а потом уже серьезным тоном поинтересовался: — А действительно, доктор, все эти люди были в Айлисе?

— Конечно, были! В Айлисе в те времена жили люди, равные богам. Они провели воду, разбили сады, тесали камни. Эти армяне, как ремесленники, так и торговцы, обошли и объездили сотни чужих городов и сел, по копейке зарабатывая деньги только для того, чтобы превратить каждую пядь земли своего маленького Агулиса в настоящий райский уголок. После того как турки в конце девятнадцатого года, ушли, оставив Айлис в руинах,

мусульманское население до сих пор ищет золото в развалинах армянских домов. Даже когда рыхлят землю для посева, ждут, что вот-вот из-под ног появится червонное золото. То самое, с помощью которого армяне добыли воду из-под земли, со всех сторон прорубили в горах фаэтонные дороги. Построили запруду. Вдоль берега реки соорудили парапет из тесаных речных камней. Все улицы вымостили отборными речными булыжниками. За счет этого золота в Айлисе в свое время было построено и двенадцать величественных церквей. На каждую ушло, быть может, по тонне золота.

Больной из своего далекого мира с бесконечным изумлением взирал на доктора Абасалиева. Человек этот казался Садаю Садыглы знакомым, и артист изо всех сил старался вспомнить, кто он. Женщины с нетерпением ждали окончания разговора о церквях, монахах, Айлисе.

Мунаввер ханум заговорила о состоянии больного:

— Раны его залечились быстро, доктор, — произнесла она, обращаясь к Абасалиеву. — Был вывих на одной руке, несколько пальцев были вывихнуты в нескольких местах, но за четыре-пять дней все зажило. И перелом колена не опасный. Он легко шевелит пальцами ноги. Организм еще молодой, даст Бог, все быстро срастется. Могли быть осложнения после сотрясения мозга. Вы знаете это лучше всех. Однако и десять дней срок немалый, доктор. Больной к этому времени должен был хотя бы заговорить. Может быть, следует отправить его в Москву пока не поздно? Фарид Гасанович и Азада ханум тоже так считают.

— Это амнезия в форме конфабулеза. Мы в психиатрии называем это еще и синдромом Корсакова. Ангиографию проводили? — спросил Абасалиев у доктора Фарзани.

— Вчера делал краниографию. У нас нет ангиографического аппарата. — Доктор Фарзани немного помолчал и добавил: — Мунаввер ханум права, лучше бы отправить его в Москву.

— А что показала краниография?

— Ничего хорошего, — ответил доктор Фарзани и после некоторого размышления добавил: — Я заметил на мозге небольшую опухоль. Может, это старая опухоль, сейчас сказать трудно. В данный момент больного очень опасно двигать, нужно немного подождать. Однако я не думаю, что мы без Москвы сможем обойтись. — Взглянув на Азаду ханум, он виновато опустил голову.

Некоторое время никто не издавал ни звука. Молчание нарушил доктор Абасалиев, сообщив еще одну неприятную новость.

— Ты слышала, Азя, что натворил этот Нувариш?

— Нет, а что он сделал?

— Говорят, выбросился с балкона.

— Кто говорит? — дрожащим голосом прошептала Азада.

— Женщины говорили в булочной в Мардакянах. Да я и сам дня три-четыре назад слышал по радио о его смерти. Не знал только, что он покончил с собой.

— Так вот почему он перестал приходить сюда, — проговорил доктор Фарзани.

— Да упокоит Аллах его душу, — горестно покачиваясь всем телом, пробормотала Мунаввер ханум.

Доктор Абасалиев, который утром появился в палате окрыленный, ближе к полудню вышел из больницы уже совсем другим и уехал к себе в Мардакяны.

А Садай по-прежнему пребывал в своем далеком мире. Теперь мальчик, следуя за красивым черным лисенком, был на вершине холма, разделявшего верхние и нижние кварталы деревни, недалеко от Каменной церкви, прильнувшей к склону чуть розоватой в лучах солнца горы. Воздух был напоен густым горьковатым ароматом ореховых листьев, смешанным с прохладой воды, потому что отовсюду к вершине, где он стоял, склонялись зеленые ветви грецкого ореха, и далеко разносился шум воды, бурлящей в каменном водоеме под Каменной церковью.

А черный красавец лисенок все так же скакал между зелеными ветвями, и мальчик боялся потерять его из вида, но в то же время он хотел пить. Его мозг пылал от жажды. И прохладная вода, звонко бегущая по выложенной камнем канаве и стекающая в маленький каменный бассейн, магнитом притягивала его к себе. Но страх потерять лисенка не позволял ему подойти к ней.

Потом он увидел, как лисенок перепрыгнул с дерева на каменный забор и продолжил свой путь. Мальчик обрадовался, теперь он мог приблизиться к звонкой воде. Он подставил ладонь под ее упругую струю. Однако ни капли воды не упало в ладонь мальчика. Он не ощутил ни малейшей прохлады, напротив, его окутал тошнотворно жаркий дух. Мальчик сунул голову в канаву, чтобы остудить пылающий мозг. Но и здесь у него ничего не получилось — даже эта бурная вода не подарила прохлады охваченному огнем мозгу. Именно в этот миг мальчика охватил ужас, что он навсегда потеряет из вида черного лисенка. И тут же где-то грохнул выстрел. Свист вылетевшей пули расплавленным свинцом ворвался в уши артиста. Чтобы понять, откуда раздался выстрел, он собрал все свои силы и, подняв голову, увидел на месте сотканных из света каменных заборов обычный — слепленный из глины — серый забор нынешнего Айлиса и стекающую по нему алую кровь черного-пречерного прекрасного пушистого лисенка своего детства.

Еще стекала эта кровь по забору, когда тот гул, что с давних пор пчелиным роем блуждал в щелях растрескавшихся стен айлисских церквей, смешавшись со звуком выстрела, черным облачком вознесся в небо.

Перед тем как навсегда закрыть глаза, высоко-высоко под Небом — на склоне самой высокой горы Айлиса — вдруг явственно увидел он Вурагырдскую церковь — “Голубиный базар”. И наконец-то понял, что дальше ему идти некуда…

Приближался вечер пятницы 12 января 1990 года.

Улурух Туранмекан, который весь день, выкрикивая устрашающие лозунги о свободе, независимости и Карабахе, водил за собой по улицам неврастеническую толпу незамужних женщин, сейчас, ближе к вечеру, проводил очередной митинг у армянской церкви, находившейся рядом с Парапетом. Подручные Халилуллаха уже больше часа пытались поджечь ее. Однако церковь никак не хотела гореть, и именно это обстоятельство особенно бесило собравшихся вокруг поэта незамужних женщин-патриоток.

Азада ханум и Мунаввер ханум везли в больничной машине тело Садая Садыглы в мечеть — для омовения.

Усталый и жалкий доктор Фарзани, не сумевший спасти больного от инсульта, сидел в своем кабинете, впервые чувствуя себя там чужим и временным. Мысленно окончательно простившись с Баку, в этот вечер он с особой волнующей надеждой и особым тревожным беспокойством ждал звонка дочери из Москвы.

Клубы черного дыма, выходящие из окон церкви возле Парапета, становились все гуще и гуще, смешиваясь с пахнущей кровью черной ночью 13 января 1990 года.

Доктор Абасалиев у себя в Мардакянах еще ни о чем не знал.

И голуби, ночующие в айлисских церквях, пока спокойно спали и видели голубиные сны.

Айлис. Июль, 2006

Баку. Июнь, 2007

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Герой драмы Джафара Джаббарлы “Айдын”.

2 Герой комедии Джалила Мамедкулизаде “Мертвецы”.

3 Вопрос ясен.

4 Карабахлы — Карабахский (*азерб*.).

5 *Кюрдамир* — район и город в Азербайджане.

6 Историческое название Агулис. В свое время — уникальный город, один из культурных центров Закавказья. В настоящее время Айлис — небольшое захолустное селение в Ордубадском районе.

7 Поселок *Монтина* — один из районов Баку.

8 Имеется в виду комедия Мирзы Фатали Ахундова “Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Мастали шах, знаменитый колдун”.

9 *Нардаран* — село в окрестностях Баку, жители которого отличаются особой религиозностью.

10 На азербайджанском языке “эрменисен, олмелисен, вессалам!” (Первые два слова примитивно рифмуются). — *Прим. автора*.

11 *Вурагырд* — искаженное от армянского топонима Вардакерт. Вардакертская церковь (церковь Св. Христофора) находилась на самой высокой точке Айлиса.

12 Азербайджанское название церкви. Монастырь основан в I в. апостолом Варфоломеем. Квартал, где построена церковь, называется кварталом Ванки.

13 *Аг килсе* — Белая церковь, *Етим килсе* — Церковь-сирота, *Мейдан килсеси* — Церковь на площади. (В нашем рассказе приводятся их азербайджанские названия.)

14 Некоторые имена реальных людей изменены из этических соображений. — *Прим. автора.*

15 *Мугдиси*-Махтеси: армяне, совершившие паломничество к Храму Иисуса в Иерусалиме.

16 *Гардаш* — брат. Здесь: уважительное обращение к ровеснику.

17 *Хышкешен* — название горы и жилого квартала в Айлисе.

18 В Нахичевани лимон выращивается только в горшках, чтобы зимой переносить их в закрытые помещения и тем самым спасти от мороза.

19 *Джингез* — буквально: джиноглазый.

20 *Сары Садай* — здесь: светловолосый.

21 *Сюмюк* — буквально Костлявый.

22 *Баджи* — сестра, уважительное обращение к женщине.

23 Легкий, шутливый (без злобы) стишок, действительно существующий в айлисском фольклоре. Здесь приведен подстрочный перевод.

24 Слегка перефразированные строки из драмы Самеда Вургуна “Вагиф”. В оригинале строки звучно рифмуются.

25 *Азраил* — ангел смерти.

26 Здесь: мастер, проповедник.

27 Одар — импровизированное толкование: люди огня и света. В романе писателя Исы Гусейнова “Идеал” утверждается, что мировая цивилизация произошла именно от одаров. (Подобная вульгарная пантюркистская тенденция получила широкое распространение в Азербайджане после выхода книги О. Сулейменова “Аз и Я”.)

28 *Улурух Туранмекан* — дословно: высший дух из земель туранских.

29 Подстрочный перевод.

30 *Чырах* — здесь: святилище.

31 *Хай* — армянин.

32 Перевод стихов приблизительный.

33 “*Дневник Закария Акулисского*” — издан Академией наук Армянской ССР в Ереване в 1939 году.

34 Все цитаты приведены из указанного дневника.

35 В более ранних источниках — Гохтн.

36 *Мелик* — богатый помещик.

37 Вопрос о зоках по-разному трактуется в различных источниках. По одной из версий, это евреи — последователи Христа, за что были наказаны иудеями и приглашены в Армению первым языческим царем Абгаром, считающимся в Армении основоположником христианства. Позже зоки ассимилировались с армянами. Их считало армянами не только мусульманское население Айлиса — выходцы из Южного Азербайджана, обосновавшиеся здесь еще со времен Сефевидов, но и многочисленные захватчики — арабы, монголы, сельджуки, а также иранские шахи и турецкие султаны.

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: zhz@russ.ru
По всем вопросам обращаться к Татьяне Тихоновой и Сергею Костырко
http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/12/aa5.html